

Николай Соляник

*Ай да Пушкин...*



Москва 2016

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2=411.2)6-4  
С 60

**Соляник Н.А.**

С 60            Ай да Пушкин... – М.: Издательство  
«Спутник +», 2016. – 204 с.

ISBN 978-5-9973-3796-4

«...Лунная дорога и стук копыт. Справа вот-вот должен показаться камень: «До С.-Петербурга 432 версты». Да вот он! Сколько раз, подъезжая к нему, едва удерживался от желания свернуть на большак... Да что за жизнь такая?! Словно заживо похоронили. Нет уж, я жив!» – закричал что есть мочи.

«Я жив!» – отозвались подлесок, ели, дубы. «Я жив!» – пронеслось над Соротью».

Эта книга о Пушкине: вчерашнем, сегодняшнем – вечном.

*На обложке: автопортрет А.С. Пушкина.  
Поэт – в образе монаха, искушаемого бесом.  
Подпись: «Не искушай (сай) меня без нужды».*

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2=411.2)6-4

ISBN 978-5-9973-3796-4

© Соляник Н.А., 2016



## *Вечер в Тригорском*

### **«Алина, сжальтесь надо мною...»**

В тот вечер в Тригорском Пушкин задержался дольше обычного. Напольные часы пробили половину одиннадцатого, вернее, прохрипели – сухо, натужно. Оно и понятно: сколько можно бежать денно и ночью, то и дело напоминая домочадцам и их гостям о быстротекущем времени? А они его словно не замечают. И не так ли он несется по своему ссыльному кругу, раз за разом напоминая друзьям, что пора бы разорвать этот круг и вернуть его, Пушкина, в Петербург, где у него столько дел, а они как не слышат...

Одна отдушина – Тригорское, семейство Осиповых-Вульф или Вульф-Осиповых, если следовать очередности замужества хозяйки Прасковьи Александровны: Вульф, потом – Осипова. К несчастью, мужа ее один за другим ушли в мир иной, оставив ей свои фамилии и восьмерых детей. Всем им Прасковья Александровна, женщина сильная и властная, обеспечила достойное домашнее образование и самолично управляла большим имением.

Просторное подворье, пруд, банька, где Пушкин некоторое время скрывался, сбежав из Михайловского после ссоры с отцом (тот согласился на надзор за ним: с кем общается, с кем переписывается). Ссора была дикая.

*«Он бил меня, хотел бить, замахнулся, мог прибить!»* – кричал отец. Кричал, естественно, на французском, но дворня-то поняла: молодой барин чем-то сильно обидел старого. На самом деле ничего такого *«бил, хотел бить»* не было, но дойди дело до суда, конечно же, поверили бы старому барину. А за такое (сын поднял руку на отца) – точно Сибирь.



*Тригорское. Главный дом (бывшая суконная фабрика)*

В отчаянии Пушкин написал письмо псковскому губернатору Б.А. Адеркасу с просьбой ходатайствовать перед его императорским величеством о заключении его, Пушкина, в крепость.

Слава богу, то письмо до губернатора не дошло. Мудрая Прасковья Александровна, видя в каком Пушкин состоянии (на грани срыва), велела кучеру, взявшемуся доставить письмо в канцелярию губернатора, по возвращении из Пскова доложить, что адресата на месте не оказалось. Более того, обратилась к Жуковскому, хотя прежде в переписке с ним не состояла, с одной-единственной просьбой: успокоить, образумить Пушкина, дабы он не натворил новых глупостей. Глупостей, известно каких: бежать за границу.

Впрочем, и сам Пушкин написал Жуковскому, своему старшему товарищу (разница в возрасте 16 лет): *«Спаси меня, милый Василий Андреевич. Еще раз спаси!»*. Еще раз –

потому что четыре года назад Жуковский уже вступался за него, призвав на помощь известных писателей, сановников. В итоге Сибирь от Пушкина удалось отвести, куда намеревался упечь его царь Александр за «возмутительные стихи, которыми он заповолонил Россию». Отделался тогда коллежский секретарь Александр Пушкин в общем-то легко: командировкой в Екатеринослав, в канцелярию добрейшего генерала Инзова.

Спасать еще раз Пушкина Жуковский не стал и на его письмо о ссоре с отцом ответил весьма уклончиво: *«Не знаю, кого из вас винить, и вообще всё – шелуха жизни, сосредоточься всецело на поэзии»*. И уже совсем неожиданное: *«По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на русском Парнасе»*.

«К черту первое место, если я в неволе!» – бесился Пушкин.

Сад, парк и главный дом, длинный, одноэтажный – бывшая суконная фабрика (прежний господский дом сгорел). Фабричное здание основательно переделали, и засияло оно на высоком берегу Сороти рядами частых окон, – летом все они были настезь, и довольно было перешагнуть через любое из них, чтобы оказаться в гостиной, столовой или в классной комнате, что Пушкин иногда и проделывал под восторженные возгласы барышень.

Но как же первое время они раздражали его! *«Твои тригорские приятельницы, – писал он сестре Ольге, – несносные дуры»*. Понятно, после Одессы – театр, казино, рестораны (этакий южный Петербург) они показались ему ужасными провинциалками. Но мало-помалу свыкся с их деревенской простотой, неуклюжими манерами (*«Ах мы... ничем мы не блесним, хоть вам и рады простодушно»*.) и даже находил в этом некое очарование.

Досталось и хозяйке: *«...в качестве единственного развлечения часто вижусь с одной старушкой-соседкой и слу-*

*шаю ее патриархальные разговоры»,* – писал он своему другу Петру Вяземскому. Старушка? В 43-го года!

Что поделаться, любил острое словцо. И сколько уже раз-метал слов-стрел в друзей и недругов, причем нисколько о том не сожалел. Что уж выскочило, то выскочило. И из-вини, дорогой Жуковский, никак не получается следовать твоему совету: перестать быть эпиграммой и стать поэмой. Поэмы еще будут, но и без эпиграммы – никак. Вот взял и окрестил своего, теперь уже бывшего шефа Воронцова полугероем, полунежеждой\*.

Еще и упрекал Жуковского за то, что тот увековечил Воронцова в своей поэме «Певец во стане русских воинов», посвященной Бородину...

Стихли аккорды. Александра (Алина по-домашнему) осторожно опустила крышку фортепиано, закрыла нотную тетрадь.

Голос у нее низкий, волнующий, и романс на его же слова «Не пой, красавица, при мне...» исполняла она, конечно же, для него, игриво поглядывая в его сторону, как бы давая понять, что определенно догадывается, о чем он сейчас думает, что вспоминает. А он лишь улыбался, тормоша курчавый бакенбард.

– Bravo! – припал к ее эстетической ручке. – Алина, сжальтесь надо мною.

Свеча тревожно затрепетала, качнулась к Пушкину, к Алине, опять к Пушкину. Да, это ей год назад он написал:

Я вас люблю – хоть я бешусь,  
Хоть это труд и стыд напрасный,  
И в этой глупости несчастной  
У ваших ног я признаюсь.

---

\* «Полугерой, полунежежда, / К тому ж еще полуподлец!.. / Но тут, однако ж, есть надежда, / Что полный будет, наконец». Первоначальный вариант эпиграммы, разошедшейся в списках.

.....  
Алина! Сжальтесь надо мною.  
Не смею требовать любви:  
Быть может, за грехи мои,  
Мой ангел, я любви не стою!  
Но притворитесь! Этот взгляд  
Все может выразить так чудно!  
Ах, обмануть меня не трудно!..  
Я сам обманываться рад!

Она тогда притворилась. Но лишь ненадолго, потому как сердце ее уже было занято другим, о чем Пушкин, конечно же, знал. Отсюда его *«я бешусь»*. Стихи он назвал «Признание» – куда как откровенно! Не публиковал их и уж тем более не заносил в альбом Алины. В девичий альбом обычно записывают короткие стишки, экспромты, здесь же целое послание. Так что о существовании «Признания» в Тригорском и за его пределами никто не знал. Оно так и осталось тайной двоих.

Ах, Алина, ах, Александра! Стройная, черноглазая, она выгодно отличалась от сводных своих сестер – низкорослых, белокурых. (Александра – падчерица Прасковьи Александровны – дочь второго мужа). Лицо, плечи – все дышало свежей юностью.

А те стихи ему самому понравились, что с ним редко бывало. Да, шуточные. Вернее, горько-шуточные: тут и досада (юная красотка предметом своих вздыханий избрала другого), и ноющее чувство несостоявшейся любви. Он потом не раз уже другим женщинам будет повторять: *«Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!»*.

– И мне, и мне, – бросилась к Пушкину Зизи, протягивая совсем еще детские ручки. – И мне поцеловать.

– Зизи! – негромко одернула ее Прасковья Александровна.  
Зизи – опять-таки по-домашнему, на самом деле –

Евпраксия. Удивительно, но в доме (при всей строгости маман) все ей прощалось: и шумливость, и некоторая фамильярность по отношению к Пушкину. Она одна запросто могла называть его Сашей, как бы подчеркивая тем самым свое предпочтительное право на него, что, конечно же, вызывало у окружающих улыбку.

Легкая, подвижная. А с каким удовольствием варила она жженку (смесь рома, сахара, лимона и пряностей) и потом важно разливала ее серебряным черпаком с длинной ручкой по чашам, не преминув пококетничать с мужчинами. Это когда приезжал на каникулы ее двоюродный брат Алексей Вульф, студент Дерптского университета (тот самый, что так растревожил сердце Алины) со своим сокурсником, поэтом Николаем Языковым. Тут же посылали за Пушкиным. Игры, танцы (прямо в саду) и флирт, флирт...

Дни любви посвящены,  
Ночью царствуют стаканы.  
Мы же – то смертельно пьяны,  
То мертвецки влюблены.

А потом приехала Анна Керн.  
Лучше бы она не приезжала...

Совсем другой была старшая сестра Зизи Анна Вульф – тихая, молчаливая. *«Она в семье своей родной казалась девочкой чужой...»* Вроде этого. Однако же Пушкин недоумевал, почему Анну считали прототипом его Татьяны. Татьяна, или Таня, как он иногда называл ее в письмах к друзьям, появилась на страницах «Евгения Онегина» еще там, на юге, задолго до высылки его в Михайловское. Нет, никакая Анна не Татьяна: чрезмерно обидчива, плаксива. Да и возраст – 25 лет. Его же Татьяне всего 17.



Кстати, замуж Анна так и не выйдет, в чем будет винить маман, которая чересчур уж ревностно оберегала ее сердечный покой. Да и за кого замуж-то? За Рокотова? Богатого соседа пустобола. (Тот самый Рокотов, которому Пушкин, остро нуждаясь в деньгах, предложил купить коляску, но сделка так и не состоялась, то ли из-за того, что Пушкин не смог перегнать ее, – свободных лошадей не оказалось, то ли Рокотов передумал: ни к чему, мол, ему еще одна коляска, пусть и одесская.)

Рокотова Прасковья Александровна на дух не переносила. За одно уже только, что отвратительно говорил по-французски. А так за кого? Гусары в эту глухомань не заглядывали, в Петербург, в Псков на балы Анну не вывозили. Пушкин же больше по привычке слегка поволочился за ней и остыл, продолжая покалывать ее:

Нет ни в чем вам благодати;  
С счастьем у вас разлад:  
И красивы вы некстати,  
И умны вы невпопад.

Будешь тут неплаксивой.

Анны вот уже год как нет в Тригорском. Маман, видя, что та не на шутку «заболела» Пушкиным, быстренько убрала ее в Малинники – другое свое имение, что в Тверской губернии. *«Если бы вы знали, как я печальна! – писала Анна Пушкину. – Я, право, думаю, как и А.К. (Анна Керн), что она одна хочет одержать над вами победу и что из ревности оставляет меня здесь... Я страшно зла на мою мать; вот ведь какая женщина!»*

## Зяец спас!

– Однако зябко, – Прасковья Александровна плотнее закуталась в шаль. – Зизи, прикрой окошко. Чай не лето. И вообще, барышни, оставьте нас с Александром Сергеевичем.

Те, прошелестев платьями, проследовали в свои комнаты. Прасковья Александровна проводила их долгим взглядом:

– А младшенькая-то на глазах хорошеет. Как вы думаете, Александр Сергеевич, она будет счастлива?

– Несомненно, сударыня. Зизи – дитя живое, воздушное.

– Егоза!

Пушкин улыбнулся: егозой его в лицее называли. Да и сам он общее поздравление лицейскому инспектору по случаю Пасхи подписал «Егоза Пушкин».

Судьба же Зизи действительно сложится счастливо. Она удачно выйдет замуж, станет графиней, родит одиннадцать (!) детей и проживет в любви и достатке долгую жизнь. Раздобрее, правда, изрядно. Вся в маман...

– Что Жуковский? – спросила Прасковья Александровна.

Пушкин присел поближе, привычно отмечая про себя ее мягкие шелковистые волосы, пышные формы.

– На водах в Европе. Лечится.

– Это я знаю. Что пишет?

– Сударыня, последнее письмо от него я получил еще в апреле: *«В теперешних обстоятельствах нет никакой возможности ничего сделать в твою пользу»*. Каково? Советует провести лето в деревне и не напоминать о себе.

Прасковья Александровна поправила шаль:

– Василий Андреевич человек умный, осторожный.

– А Вяземский? *«Сиди смирно и пиши, пиши...»* Сговорились, что ли?

– Так ведь время какое, друг мой. Сами видите.

Пушкин поерзал на стуле:

– Но к заговорщикам я никакого отношения не имел и не имею. Жуковский и Вяземский знают это, а поди же: *«В бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои»*. Ну и что? Мало ли у кого могут быть мои стихи. Их переписывают, они ходят по рукам. Я знать не знаю, какие это стихи. Может, и не мои, а приписываемые мне. Такое уже случалось...

Некоторое время помолчали, понимая, что думают об одном и том же.

– Господи, прости их души грешные! – Прасковья Александровна перекрестилась. – Дети глупые.

Пушкин не унимался:

– Но мне надо в Петербург. Я не могу вести свои издательские дела. Цензоры режут, редакторы врут, – вскочил, прошелся взад-вперед. – Мне следует быть там!

– Не горячитесь, Александр Сергеевич. Всею свое время. Прощение новому царю вы подали.

– Вяземский, однако, находит его холодным и сухим. Но иначе и быть невозможно. Благо написано.

– Будем надеяться, что все разрешится. Лучше скажите, как продвигается ваш «Онегин»?

Пушкин оживился:

– «Онегин» растет. Начал пятую песнь. Правда, четвертую еще не закончил. Так у меня бывает: хватаюсь за новое, не завершив предыдущее. Зато написал «Бориса».

– Стоящая вещь. Вы читали мне.

– Стоящая... Такого в русской литературе еще не было. Историческая драма. О царе Борисе и Гришке Отрепьеве, – и уже торжественно-артистически, – писал раб божий Александр сын Сергеев Пушкин в лето 7333 на городище Вороничи, – хлопнул в ладоши: – Ай да Пушкин, ай да сукин сын!

Прасковья Александровна улыбнулась:

– Узнаю Пушкина.

– Ну вот, – вернулся на место. – Жуковский пишет: создай нечто большое, значительное, легче будет ходатайствовать о тебе. Я и создал и большое, и значительное. И что же? Укатил в Европу. Вяземский отсиживается в Ревеле. Разбежались кто куда.

– И все же про Онегина. Не знаете, как с ним быть?

– Если честно, не знаю. Примкнуть его к декабристам? Но какой из него декабрист? Сибарит. Да и опасно теперь. Отправить в путешествие?

– Как Байрон своего Дон Гуана?

– Своего Чайльд Гарольда. В конце концов, не женить же его на Татьяне, как того многие хотели бы. Смешно и глупо. И слишком ожидаемо.

– Но, согласитесь, и дуэль Онегина с Ленским тоже смешна и глупа. И настолько же предсказуема.

– Ах, Прасковья Александровна, какой же нынешний роман без дуэли?

– Но не для Пушкина.

– Сударыня, я сам не раз стоял под дулом пистолета и хорошо знаю, что такое защищать свою честь. В данном же случае – честь женщины.

Прасковья Александровна пристально посмотрела на него. Бог весть, о чем подумала. Возможно, о старшей дочери Анне, которую насильно увезла в Малинники, подальше от Пушкина, и которая наверняка состоит с ним в переписке.

Видела бы она те письма. В них столько искренности, боли, горечи, какими только могут быть письма влюбленной женщины. Он же отвечал ей нехотя, со свойственной ему игривостью и дерзостью: *«...подруги ваши столь же пусты и столь же болтливы, как и вы сами»*. Показушно ревновал, доставляя тем самым ей несчастье опровергать пустые сплетни. Поучал: *«Не растрепывайте височков: у вас, к несчастью, круглое лицо»*. Просто ерничал: *«Скоро*

ли выходите замуж? Нашли ли уланов?». А ей не нужны были ни кузены, ни уланы. Ей нужен был он.

Он знал это и, тем не менее, продолжал подшучивать. Правда, одна ее фраза резанула его: «...вы разрываете и раните сердце, цены которому не знаете». И сейчас, поглядывая на примолкшую Прасковью Александровну, вдруг, холодея, осознал, что, видимо, никогда больше таких писем не получит и таких слов не услышит. Если вообще кто-то его полюбит...

– Александр, примиритесь с отцом.

Пушкин поморщился:

– Этому не бывать! Он даже Левушке запретил со мной общаться. За два года, что я здесь, Левушка так и не навестил меня. Были Пущин, Дельвиг. А братец не приехал. Понятно, отец запретил. Словно я прокаженный какой. *C'est un tour de force!*\* Это он должен просить у меня прощения. Но если бы даже решил это сделать, я скорее выпрыгнул бы в окно, чем дал ему прощение.

– Матушка ваша, Надежда Осиповна, очень переживает. Всячески готова помочь вам.

– Уже помогла. Кто просил ее писать теперь уже покойному императору Александру относительно моего аневризма?\*\* И что? Предложили лечение в Пскове. Да до Пскова я и сам добрался бы, мне нужно было за границу. Я не жалуюсь на мать, она думала сделать мне лучше, и не ее вина, если она обманулась. Но вот мои друзья – те сделали именно то, что я заклинал их не делать. Что за страсть – принимать меня за дурака и повергать в беду, которую я предвидел и на которую им же указывал? О господи, освободи меня от моих

---

\* Это чудовищно! (фр.)

\*\* Тогдашнее правописание и произношение; по нынешним нормам русского языка – аневризма (выпячивание стенок кровеносных сосудов – артерии или вены).

друзей! Я не понимаю Вяземского. Он не привязан. Как он может оставаться в России? Если новый царь даст мне свободу, то я и месяца не останусь!

– Ну вот еще...

– Извините, – взглянул на часы, – мне пора.

Она тоже поднялась:

– Может, яблочек моченых? Или баночку крыжовника?

– Нет-нет, спасибо, – расцеловал ее в надушенные щеки.

– В другой раз.

В прихожей мельком взглянул в зеркало: «Лоб-то оголяется. Неужто буду лысым, как дядюшка Василий Львович? Зато бакенбарды вон какие! Отец тогда решил, что я отращиваю их для того, чтобы, изменив внешность, бежать из Михайловского. И ведь угадал».

Расхохотался:

– Заяц спас!

Прасковья Александровна тоже рассмеялась:

– Знаю, знаю.

– Не перебеги тогда он мне дорогу...

– Шли бы вы сейчас по этапу.

– Ай да зайчик! Жив ли? Или его подстрелил какой-нибудь Рокотов?

– Жив, жив, наверное. А то, что воротились, – божий промысел. Я молилась за вас. Пушкин быстро взглянул на нее:

– Спасибо!

– Сударыни! – окликнула она девиц. – Александр Сергеевич уезжает.

Те тут же прибежали:

– Александр, Саша, а завтра будете?

Проводили его до крыльца, где уже фыркал нетерпеливый аргамак. Легко запрыгнул в седло:

– Ладно, женю Онегина на Татьяне.

– Да, пожалуйста, пусть будут вместе! – затараторили Алина и Зизи.

В темноте улыбнулся: «Конечно же, никогда этого не сделаю».

Осторожно спустился в овраг, огибая городище Вороницы (остатки средневекового холма-крепости). Там, наверху – родовое кладбище Осиповых и крохотная церквушка, где год назад заказывал он обедню по боярину Егорию Байрону. Поп тогда удивился его набожности и вручил ему поминальную просвиру, которую он, в свою очередь, отправил Вяземскому...

Пришпорил коня: «Вперед, милый!».

«Чудная ночь! Лунная дорога и стук копыт. Справа вот-вот должен показаться камень: «До С.-Петербурга 432 версты». Да вот он! Сколько раз, подъезжая к нему, едва удерживался от желания свернуть на большак. Да что за жизнь такая?! Словно заживо похоронили. Нет уж, я жив!» – закричал что есть мочи.

«Я жив!» – отозвались подлесок, ели, дубы. «Я жив!» – пронеслось над Соротью.

## Приезд жандарма

Поднявшись на Михайловский холм, уже у самого дома, удивился светящимся окнам – в столовой, гостиной. «С чего бы это? В такой-то час». Спешился прямо у крыльца и чуть не столкнулся в дверях с Ариной Родионовной:

– Батюшка, жандарм!

Пушкин почувствовал, как кровь отливает от лица. «Арест?» Ворвался в гостиную; жандармский офицер – синий мундир, серебряные погоны – шагнул навстречу:

– Господин Пушкин, вам велено тотчас следовать в Псков. Вот письмо губернатора.

Пушкин схватил серый пакет и, на ходу вскрывая его дрожащими пальцами, удалился в кабинет.



*Михайловское. Дом-музей А.С. Пушкина*

*«Милостивый государь мой, Александр Сергеевич!» – писал губернатор.*

*«Милостивый государь мой», – Пушкин перевел дыхание. – Вполне любезно».*

*«Сейчас, – следовало далее, – получил я прямо из Москвы с нарочным фельдъегерем высочайшее разрешение по всеподданнейшему прошению Вашему, с коего копию при сем прилагаю. Я не отправляю к Вам фельдъегеря, который останется здесь до прибытия Вашего, прошу Вас поспешить приехать сюда и прибыть ко мне...»*

*«Высочайшее разрешение... Неужто?», – застучало в висках.*

*Развернул второй лист. Это была копия предписания начальника Главного штаба генерала Дибича Адеркасу.*

*«Господину Псковскому гражданскому губернатору. По Высочайшему Государя Императора повелению, последовавшему по всеподданнейшей просьбе, прошу покорнейше Ваше превосходительство: находящемуся во вверенной Вам губернии чиновнику 10-го класса Александру Пушкину позволить отправиться сюда при посылаемом вместе с сим нарочном фельдъегере. Г-н Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря, по прибытии же в Мо-*



*скву имеет явиться прямо к дежурному генералу Главного штаба Его Величества». И вверху гриф «Секретно».*

– Матушка! – выскочил из кабинета. – Собирай меня. Да скажи Архипу, чтобы подавал коляску.

– Куда же на ночь-то? – всплеснула руками Арина Родионовна. – Побудьте до утра, господин жандарм.

Тот недовольно звякнул шашкой:

– Ехать надо сейчас же.

– Да, сейчас, – засуетился Пушкин. Вернулся в кабинет: «Тетради. Рукопись «Онегина». И непременно «Годунов». И свеженький сборник стихотворений. Перья, чернильница... А губернатор молодец! Велел снять копию с секретного документа и доставить ее мне. Понятно, дабы я не терзался неизвестностью. Но ведь и ясности мало. В чем суть высочайшего разрешения? В разрешении жить в Москве, в Петербурге? Где захочу?»

– Да что за спешка такая? – продолжала причитать Арина Родионовна. – А покушать?

– Матушка, совсем нет времени. Может, господин офицер?

– Благодарствую! Мы уже почаевничали, – поклонился Арине Родионовне.

– Тогда с собой, телятинку...

– Аринушка, – Пушкин обнял ее за плечи, – ничего не надо. Разве что вина. Бутылки две-три. Дорога-то долгая. В Москву.

– В Москву? О господи!

Снова вернулся в кабинет: «Деньги. Да-а, немного. Каналья Плетнев!\* Затянул с гонораром... А как понять «не в виде арестанта»? Тогда в виде кого? В виде все того же поднадзорного? Потому и фельдъегерь? Словно сам не нашел бы дорогу до Москвы. Из Одессы до Михайловского один добирался – вон какой путь!.. Явиться в Главный

---

\* П.А. Плетнев – петербургский издатель А.С. Пушкина.

штаб. И что далее? Встреча с новым императором? И что намерен он мне сказать, о чем спросить?».

– Я готов! (шинель, шляпа). Да, еще pistols.

– Зачем вам pistols, господин Пушкин? – удивился жандармский офицер.

– Какой же дворянин в наше время перемещается по Руси без pistols? Ну, прощайте! – махнул сбежавшейся дворне, расцеловался с Ариной Родионовной. Та уже не сдерживала слез:

– Свидимся ли, батюшка? – трижды перекрестила его.

– Свидимся, свидимся, матушка.

Вскочил в коляску. «А коляска-то пригодилась. Стало быть, хорошо вышло, что Рокотов не купил ее».

Жандармский офицер втиснулся в кибитку.

– Поехали!

## Сороть

Черная лента шоссе обрывается у автостоянки. Дальше – пешком, по широкой рыжей дорожке. Сколько люду топало по ней: к Пушкину, к Пушкину. Дорожка ведет в парк: аллеи, прудики, мостки. Самая длинная аллея с двумя перекатами – еловая, въездная. Тут есть деревья, которые высаживал еще прадед Пушкина, – Ганнибал. Выше – часовенка, большой каменный крест.

Другая аллея – аллея Анны Керн. Липовая. Слово-то какое! Собственно, таким и оказалось ее отношение к Пушкину: поддельно-кокотливым – липовым. Да, ей льстило его внимание, она восторгалась его стихами, экспромтами, но выбор сделала все-таки в пользу кузена Алексея Вульфа.

Зеркальный пруд с крохотным островком. У самой воды – широкая белая скамья: скамья Онегина. Она – символ здешних мест. Ее можно встретить у здания Пушкиногор-

ской администрации, у гостиницы с тенденциозным названием «Дружба», в которой я остановился. Моему водителю узбеку (вчера весь день мотался со мной на стареньких своих «Жигулях») нравится такое ее название:

– В нем, – говорит он, – суть бывшего СССР. Вот и я здесь – у меня жена русская.

– И давно здесь, в Пушкиногорье?

– Пятый год. Сначала жили у ее родственников, потом купили домик. Коза, огород. Я туристов вожу.

– Понятно. И друг степей калмык...

– Я не калмык. Я узбек.

– Это у Пушкина – и друг степей калмык... Сам-то в Михайловском, Тригорском бывал?

– Был, конечно. И в субботнике участвовал, когда нужно было листья вывозить. Их здесь по осени ужас сколько! Весь город приходит – студенты, школьники.

– Это хорошо!

– Ну а как же! Надо помогать, – самодовольно заключил он. – Куда сегодня?

– В Михайловское.

– Опять?

– Да есть еще вопросы.

– Как скажешь, начальник.

– Да какой я тебе начальник? Я турист.

– Для нас каждый турист – начальник, – вырвав на шоссе, заключил он. – Вы бы в Сороти искупались. Правда, вода сейчас холодная. Зато будет что вспомнить.

– Ты и вчера это говорил.

– Да?

На автостоянке мы расстались. Он поехал по новому вызову, а я отправился по рыжей дорожке.

А дышится, дышится как! Легко, свободно. Но и как-то волнительно. Как же? Дорога к Пушкину. Шуршит под но-

гами гравий. Это сюда почти два века назад августовским вечером приехал в шегольской коляске молодой, курчавый, синеглазый... Хочешь узнать, что такое поэзия, что такое любовь к женщине, что такое Россия, – приезжай сюда, в Михайловское.

Туристов уже довольно много. Разбрелись, кто куда. Такое впечатление, что затем только сюда и приехали, чтобы полюбоваться ландшафтом, газонами, цветниками. Но вот уже у домика поэта собирается группа.

Ну а мне – к Сороти. Еще в Москве задумал искупаться в ее водах. Не сезон, конечно: начало сентября, да еще на Псковщине, но Пушкин наверняка до поздней осени купался. Сбегал вниз по росистой тропинке, сбрасывал рубашку, панталоны и – бултых! Вода холоднющая. Б-р-р! Поеживаясь, выбирался по вязкому дну на берег. Это уже я. Накинул на плечи гостиничное полотенце, не спеша, отряхивая с пальцев капли, достал из сумки пачку сигарет, закурил.

– И как водичка? – выше на тропинке показалась женщина: темные, до плеч волосы, розовая курточка поверх белой навывпуск сорочки, джинсы.

Ну дела! Едва подумаешь о Пушкине, тут же возникает женщина.

– Водичка нормальная, – отвечаю, – пушкинская.

– Пушкинская? – подошла ближе. – Откуда вы знаете? С тех пор столько воды утекло.

– А, кажется, только сейчас вышел.

Рядом с ней – девочка лет десяти, дочка, наверное, и тоже в джинсах. Две джинсовые! Видел бы их Пушкин. Впрочем, здесь сплошь джинсы.

– Говорят, он до поздней осени купался.

– Наверное.

– А зимой окунался в бочку с ледяной водой. Экскурсовод рассказывала.



*Речка Сороть*

– Для закалки. Памятуя, наверное, о том, как в Екатеринославе, теперь это Днепропетровск, искупавшись в Днепре, сильно простудился.

Отвела со лба локон:

– А Сороть куда впадает?

– Мама, экскурсовод же сказала: в реку Великая, – вступила в разговор девочка.

– Ах да, в Великую. А Великая?

– Вот этого не знаю, – чистосердечно признался я. – В какое-то озеро. Их здесь вон сколько. Так вы в домике уже побывали? – спросил я, обращаясь больше к девочке.

– Да, побывали. У него такая маленькая кровать. Совсем детская.

– Таня! – одернула ее мама.

– Таня верно подметила, – поддержал я девочку. – Даже не кровать, а топчан. Еще и без одной ножки. Вместо ножки – какой-то обрубок.

– Как это? – вырвалось у нее.

– Да так, – и уже тихо, обращаясь к ее маме, – слишком горяч был в любви.

Она улыбнулась. Смуглое лицо, светло-карие глаза. Наверняка Пушкин заинтересовался бы ею. Кстати, на кого из

его возлюбленных она похожа? На кишиневскую Калипсо, на одесскую Ризнич? Да нет! Те совсем чернявые...

– Так тебя зовут Таня? – я снова к девочке. – Хорошее имя. Пушкину бы понравилось.

– Я знаю. Потому что он сам любил Татьяну, ну которая в романе.

– Ты читала «Евгения Онегина»?

– Немножко. Мама рассказывала.

– А маму как зовут?

– Алена.

– Таня, ну ты болтушка, – покачала головой мама.

– Все нормально. Алена тоже хорошее имя. Славянское.

– А вас как зовут? – спросила девочка.

– Николай.

Сделала важное лицо:

– Очень приятно!

– Ну разговорились, – заулыбалась Алена.

– Дядя Коля, а почему на столе у Пушкина статуэтка Наполеона? Он же наш враг.

– А потому... Потому что был кумиром тогдашней молодежи. Громил монархов. Как-нибудь мама расскажет, – взглянул на Алену.

– Может быть, – снова отвела локон. – Таня, нам пора.

Я докурил, соображая, где бы придушить окурочек.

– А Пушкин курил? – новый вопрос девочки.

– Курил. И трубку и сигары. Но редко. По настроению. Когда приезжал кто-то из друзей или когда в карты играл.

– А он много денег проиграл?

– Таня! – одернула ее мама.

– Много. Он даже рукопись своих стихов проиграл. Потом, правда, выкупил.

– Да? Молодец!

– Таня, – Алена взяла ее за руку, – автобус без нас уйдет.

– Так вы в Тригорское?

- В Тригорское.
- Поторопитесь. Пушкина можете не застать.
- Девочка недоверчиво посмотрела на меня:
- Его же нет. Он умер.
- Как это умер? Кто сказал такую глупость? Пушкин жив. Он здесь, рядом. Прислушайся: это его шаги – легкие, быстрые, это его смех – взрывной, раскатистый, это его перышко скрипит. Стихи, стихи...
- И справа на листе профиль женщины, – продолжила ее мама.
- Воронцовой, – добавил я.
- Ну вы вообще! – фыркнула Таня.
- А в Тригорском Пушкина точно нет. Сегодня какое число? Четвертое?
- Да, четвертое сентября.
- Он уже в Пскове. У губернатора.
- Опять шутите, – девочка не скрывала своего недоумения. – Мам?
- Что мам? – Алена еле сдерживала смех. – Всё, Таня, собираемся наверх.
- А потом куда? В Царское Село, в лицей?
- Конечно.
- Постарайтесь экскурсию дважды пройти. У каждого экскурсовода свой рассказ, и каждый, торопясь, что-то упускает, недоговаривает. А два рассказа – уже более или менее полная картина. Только не пытайтесь фотографировать келью Пушкина. Многие тайком щелкают. Бесполезно. Кадр будет засвечен.
- Да? И вы тоже щелкали?
- А как было удержаться? В итоге – мутное пятно.
- Будем знать. Спасибо!
- Алена, вы потом позвоните мне, что и как...
- Номер моего мобильного запишите.
- Хорошо. Таня, запиши. Ну мы побежали.

---

## *Псков, Боровичи, Торжок...*

### **Губернатор**

Губернаторский дом стоял на крутом берегу реки Великая: деревянный, одноэтажный – неказистый. Губернатор и сам это понимал и лишь оправдывался: «Сие издержки военного времени».

Да, прежний губернаторский дом, кирпичный, просторный, в самом центре города – на Торговой площади в годы войны был отдан под госпиталь, и казна в спешном порядке взамен выкупила особняк, какой уже нашелся. Сюда и въехал в декабре 1816 года 23-й Псковский гражданский губернатор Борис Антонович Адеркас. Вообще-то, Беренд Отто фон Адеркас. Из лифляндских.

Псковитянам импонировала его семейственность: восьмеро детей. Правда, от трех жен. Смущало разве что его полицейское прошлое. Та же Прасковья Александровна Осипова, призывая Пушкина к большей осторожности, не раз говаривала ему: «Господин Адеркас, хотя человек и добрый, но прежде был полицмейстером».

Пушкина петербургское полицейское прошлое Адеркаса ничуть не волновало, да и не мог не видеть, что относится тот к нему весьма благосклонно, если не сказать сочувственно. Во всяком случае, не стал журить за то, что по при-



бытии на псковскую землю не явился к нему с докладом, как того требовало предписание. Со стороны Пушкина это не было ни капризом, ни проявлением неуважения к губернатору, просто устал от дорожной тряски (десять суток на колесах) и, не доехав сто верст до Пскова, свернул в Михайловское, к родителям. Губернатор потом прислал за ним.

*«Губернатор... был весьма милостив, – писал Пушкин Вяземскому, – и даже дал мне переправить свои стишки-с. Вот каково!»*

Губернатор баловался стишками? Впрочем, кто из тогдашних дворян, пусть и лифляндских, ими не баловался? Это считалось хорошим тоном.

Да и понимал Пушкин: не вина Адеркаса, что вынужден был установить надзор за ним. На то было указание рижского генерал-губернатора маркиза Паулуччи, а тому, в свою очередь, повелел министр иностранных дел Нессельроде (ну и фамилии!), а Нессельроде – уже сам Александр...

Доложили о прибытии Пушкина. Адеркас, в синем генеральском мундире с орденом Святого Владимира в петлице, высокий, тучный, вышел навстречу:

– Александр Сергеевич! Я нарочно тотчас послал за вами, чтобы вы сегодня же выехали в Москву. Да вы присаживайтесь, – зашел за большой, драпированный зеленым сукном стол. – Вот так-с: государь Николай Павлович требует вас к себе.

Пушкин слегка отодвинул тяжелый стул – не любил сидеть тет-а-тет с собеседником:

– На допрос?

– Полноте, Александр Сергеевич. Государь император желает встретиться с вами, побеседовать. Несомненно, вы будете помилованы.

– Ваше высокопревосходительство, из вашего письма и предписания вам Дибича – благодарю вас, что вы позволили мне ознакомиться с ним, – я этого никак не увидел.

– Ну как же? Речь идет о разрешении вашего прошения: ехать на лечение в Москву, Петербург или дальние края.

«Эх, Борис Антонович! Ничего-то ты не понял. Вовсе не доктора мне нужны, а свобода передвижения, издатели, друзья-литераторы».

– Все будет хорошо, – с некоторой загадочностью продолжил Адеркас. – Я вас уверяю.

Пушкину показалось, что Адеркас что-то не договаривает, наверняка знает нечто такое, что ему не следует знать.

В самом деле, откуда Пушкину было знать, что накануне на Псковщине побывал тайный агент Бошняк – любитель-ботаник. Собираение бабочек и растений служило ему хорошим прикрытием для его темных делишек. А приезжал он для «обстоятельного исследования поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению вольности крестьян». В губернии как раз прошли крестьянские волнения. Слава богу, не затронули они Новоржев, Опочку. Тихо было и в Тригорском. И уж тем более в Михайловском, где и крестьян-то раз-два и обчелся.

Посетил Бошняк почтовые станции, постоянные дворы, гостиницы, торговые лавки, встречался с соседями-помещиками опального поэта, с предводителем уездного дворянства, уездным судьей, игуменом Святогорского монастыря. Ничего предосудительного в отношении Пушкина не накопал, по поводу чего наверняка досадовал. Как же так – он, Бошняк, опытный агент (это он, внедрившись в 20-м году в Южное общество, без промедленья сдал его) возвращается в Петербург ни с чем?

Впрочем, тут может быть другое. Хитрый, умеющий держать нос по ветру, Бошняк, видимо, почувствовал, что к Пушкину отношение в верхах меняется к лучшему. Зачем же дуть против ветра? И написал в донесении: Пушкин ведет себя скромно, тихо, крестьянские бунты и тайные заговоры не организует.

– Дежурный! – Адеркас позвонил в колокольчик. – Фельдъегеря ко мне!

Тот мигом явился, невысокого роста, худощавый; видеть, фельдъегерская жизнь не мед: помотайся-ка по дорогам России!

– Господин Блинков, познакомьтесь: Пушкин Александр Сергеевич, поэт.

– Очень приятно-с... Наслышан...

Пушкин насторожился:

– И о чем же вы наслышаны?

– О стихах ваших.

Опять-таки знать бы Пушкину, что этот самый Блинков уже приезжал по его душу. Тогда же, вместе с Бошняком. И даже имел при себе так называемое открытое предписание *«для взятия и доставления по назначению, в случае надобности при опечатании и изъятии бумаг, одного чиновника, в псковской губернии находящегося...»* По сути, это был ордер на арест. Заполнять его Блинкову не пришлось...

– Господа, – продолжил Адеркас, – выезжаете сегодня же вечером. Унтер-офицер Блинков, позаботьтесь об экипаже, лошадях. Отметьте подорожную.

– Все сделаем, – щелкнул каблуками.

– А вам, Александр Сергеевич, – взял Пушкина за локоть, – надо бы отдохнуть. С дороги все же. Вы где остановились?

– В гостинице «Париж», что на Сергиевской. В Париже побывать не довелось, хоть в одноименной гостинице приучусь.

– Побываете, Александр Сергеевич, побываете. И в Париже, и в Берлине...

– Вашими бы устами, Борис Антонович...

Адеркас самодовольно погладил усы:

– Какие будут просьбы, пожелания?

– Да в общем-то никаких. Вот хотел бы посетить кого-

нибудь из псковских знакомых. Вы не знаете, Набоков в Пскове?

– Набоков? Генерал? – Адеркас несколько удивленно взглянул на Пушкина. – Право, не знаю. Намедни видел его.

«Борис Антонович, к чему удивленное лицо? Ведь действительно знаете, что в Псков я навещаюсь довольно часто и подолгу вопреки глупому указанию безотлучно торчать в Михайловском и что здесь у меня много знакомых офицеров. Не одну ночь сживал с ними за штоссом».

– Хорошо-с! Но к пяти часам прошу быть, – и уже совсем по-дружески. – А помните, Александр Сергеевич, вы мои стишки поправили, которые я старшей дочери посвятил к ее именинам? Очень ей понравились.

– Ну, так, – Пушкин развел руками.

Генерала Набокова, командира расквартированной в Пскове пехотной дивизии дома не оказалось – на маневрах. Пушкина это особо не расстроило, для него важным было повидаться с его супругой Екатериной Ивановной, в девичестве Пущиной. Да, сестрой того самого Пущина, лицейского своего товарища (комнаты их были рядом: 13-я и 14-я). Того самого Пущина, который первым из друзей посетил его в заснеженном Михайловском и который 14 декабря вместе с другими «бунтовщиками» вышел на Сенатскую площадь. И сейчас где-то на этапе в Сибирь...

Екатерина Ивановна приняла его в гостиной (тяжелое платье, тяжелые букли), натужно улыбнулась. Боже, такой грустной улыбки он еще не видел!

– Как же так вышло? – вырвалось у него. – И никто... Супруг ваш, генерал, участник многих войн... Отец, адмирал флота, сенатор – я его хорошо помню – не смогли смягчить участь Ивана?

– Довольно того, что смертную казнь заменили пожизненной каторгой. Иван – человек сильный, стойкий. После

Сенатской его искали в Москве, по месту службы, а он отсиживался в петербургской квартире и ждал ареста. Горчаков, князь, дипломат, из ваших, лицейских, советовал ему бежать за границу. Заготовил паспорт, предлагал деньги.



*Иван Пушкин*

– Горчаков? – удивился Пушкин. – Право, странно. Человек он сверхосторожный, мы с ним мало дружили – и такой поступок. Это делает ему честь.

– Иван отказался.

– Да, это Иван!

– А другой мой брат, Михаил, – продолжила Екатерина Ивановна, – разжалован в рядовые и отправлен на Кавказ. По тому же делу.

Пушкин подошел к окну, толкнул створку, словно ему не хватало воздуха:

– А мне вот в Москву. Новый царь вызывает.

– Царь? Зачем?

– Поговорить хочет.

– О чем же?

– Не знаю. Наверное, хочет вольную дать. Или отчитать за что-то. Связь моя с тайным обществом не доказана, а вот некоторые стихи до сих пор простить не могут.

Екатерина Ивановна нахмурилась:

– Не доверяйте этому человеку.

Пушкин вздрогнул:

– Полагаете, меня ждут неприятности?

– Несомненно.

Суетясь, достал из кармана листок бумаги:

– Вот, возьмите. Это стихи. Другой список я переправлю Ивану.

– *«Мой первый друг, мой друг бесценный! – зачитала Екатерина Ивановна тихим голосом. – И я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил...»* Это когда Иван приезжал к вам в Михайловское. В прошлое Рождество. Очень растроган был той встречей.

– А каково мне было! Эх, Иван! Неужто больше не свидимся?

– Оттуда не возвращаются, – кончиком платка промокнула глаза. – А скажите, он не говорил вам об обществе?

– Нет, не говорил. Правда, иногда мне казалось, что он чем-то озабочен или встревожен.

– И мы ничего не знали.

– Спасибо вам за стихи, – поднялась, давая знать, что разговор закончен. – Берегите себя, Александр Сергеевич.

Тревога снова сжала сердце. «В самом деле, зачем царь призывает к себе? Чтобы еще раз потребовать подтверждения о непричастности к заговорщикам? Предложить службу? Или, – похолодела спина, – прослышал про мою «Гавриилиаду» или «Андрея Шенью»?

Представил, как переполошились там, в Тригорском, ведь наверняка уже знают о ночном визите в Михайловское жандармского офицера.

– Извозчик, на почту!

Написал кратко (на французском): *«Полагаю, государи-*

*ня, что мой быстрый отъезд с фельдъегерем удивил вас столько же, сколько и меня. Дело в том, что без фельдъегерей у нас ничего не делается... Я еду прямо в Москву, где рассчитываю быть 8-го числа текущего месяца...».*



*Псков. Губернский почтовый дом*

Письмо это Прасковья Александровна Осипова получит через четыре дня, когда Пушкин будет уже в Москве. Ноги Арины Родионовны окажутся быстрее. Уже с утра она прибежит в Тригорское в слезах, с растрепанными волосами: «Матушка, Прасковья Александровна, беда! Сашу арестовали!».

Осипова тут же напишет Дельвигу в Петербург. Впрочем, Дельвиг наверняка уже будет знать о случившемся, потому как Пушкин и ему напишет, попросив заодно денег «на шампанское и прочее»...

А из письма Прасковья Александровна мало что поймет. В Москву? Зачем? И в сопровождении фельдъегеря? Еще и ерничает: «без фельдъегерей у нас ничего не делается...».

Хотел еще навестить Гавриила Назимова, псковского помещика, любителя штосса и стихов, но, зная, что и его род

постигла декабристская беда (Михаил, двоюродный брат Гавриила Назимова отправлен на поселение в Сибирь – «имел умысел на цареубийство»), воздержался. Да и по времени уже не успевал.

«Пушин, Назимов, Рылеев, Одоевский, Кюхельбекер... Сколько же знатных родов перемолола николаевская колесница! А он призывает меня к себе. Чтобы унижить? Дескать, друзей твоих караю, а тебя милую. Что за подлая жизнь! Нужно лгать и лицемерить. Лицемерить и лгать. Лгать по поводу мнимого аневризма, клясться в верноподданничестве. И все во имя чего? Во имя свободы? Но без свободы нет творчества. Впрочем, за свободу я уже заплатил. Несвободой».

Расставание с губернатором было весьма теплым. Улыбались и дружески пожимали Пушкину руку как бы случайно оказавшиеся здесь предводитель дворянства, почтмейстер, попечитель учебных заведений, еще кто-то.

«Что с вами, господа? Еще вчера вы и не глядели в мою сторону».

– Так вы прямо к царю, господин Пушкин? Пробасил предводитель дворянства.

– Не знаю, я еще ничего не знаю, – покосился на Адеркаса, но тот лишь хмыкнул в усы.

– Лицезреть самого государя, – подхватил попечитель, – это дорогого стоит.

– Может быть, может быть, – отозвался Пушкин, обнажая в улыбке белые зубы. – *«Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь».*

Господа переглянулись.

– Грибоедов, – продолжал улыбаться Пушкин.

«Да что я распыляюсь перед ними? Ведь наверняка не знают, кто такой Грибоедов, и ничего его не читали... Мы ленивы и нелюбопытны».



– Говорят, Москву теперь не узнать, – прервал затянувшуюся паузу инженер-устроитель, – каменные дома, большой храм строится...

– Господин Пушкин, – подхватился почтмейстер, – будете у государя или у какого министра, скажите, что только в прошлом году мы открыли три почтовые станции.

– Только три? – съехидничал Пушкин.

– О чем вы, Семен Яковлевич? – одернул почтмейстера Адеркас. – Позаботьтесь лучше о том, чтобы постояльцев ваших кормили лучше.

Пушкин внутренне сжался, припомнив, как на одной из станций, раздосадованный плохим обедом, написал прямо на салфетке: *«Господин фон Адеркас, худо кормите вы нас. Вы такой же ресторатор, как великий губернатор»*.

Эпиграмма та, судя по всему, до Адеркаса не дошла. В противном случае иначе бы к нему относился. А пока – сама любезность. Пушкину даже казалось, что он всячески хотел дать понять ему, что в благополучном разрешении его, Пушкина, прошения есть немалая и его, губернатора, заслуга. Как же? Хлопотал о выдаче ему медицинского заключения по поводу аневризма, помогал составить прошение на имя нового царя («позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края»). Правда, тут же потребовал письменно засвидетельствовать свою благонадежность.

*«Обязуюсь, – написал Пушкин, – впредь ни к каким тайным обществам, под каким бы они именем не существовали, не принадлежать»*. – Пробежал текст. «Впредь... не принадлежать». Выходит, принадлежал. И уточнил: *свидетельствую при сем, что ни к каким тайным обществам не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них»*...

И вот прощай, Псков! Впрочем, он и для Адеркаса «прощай»: в кармане у него уже лежало предписание о переводе его в Воронежскую губернию. И губерния крепче, и губернаторский дом приличнее.

## Фельдъегерь

– Так вы только из Москвы? – усаживаясь на кожаные подушки справа от Блинкова, дабы шашка его не гремела рядом, спросил Пушкин.

– Так точно! – ваше благородие (серая с пелериной шинель, красный воротник, шляпа с султаном из белых перьев – клоун).

– И как Москва?

– Москва в празднестве. Коронация государя.

– А я родился в Москве.

Блинков промолчал.

– Еще подростком уехал.

Блинков продолжал молчать, погружаясь подбородком в красный воротник.

«Наверное, все фельдъегери таковы: усадые и молчаливые. Знать, по инструкции запрещено им общаться с теми, кого доставляют куда надо. Но я не арестант, не этапиремый, я – сопровождаемый. В Москву. В Кремль. К новому царю. Зачем, и сам не знаю».

Вспомнил свой воображаемый разговор с теперь уже покойным Александром I. Наброски тех фраз сохранились в одной из больших черных тетрадей. «Когда бы я был царь, то позвал бы Пушкина и сказал ему: «Пушкин, вы прекрасно сочиняете стихи, но ваша ода «Свобода» немного сбивчива, мало обдуманна».– «Ах, Ваше Величество, зачем упоминать об этой детской оде? Лучше бы Вы прочли несколько песен из «Руслана и Людмилы». «Онегин» печатается, буду иметь честь отправить два экземпляра в библиотеку Вашего Величества...».

Царь продолжил бы: «Как это вы могли ужиться с Инзовым и не ужились с графом Воронцовым?» – «Ваше Величество, генерал Инзов добрый и почтенный старик, он русский в душе и не верит вражеским пасквилям... Ваше

Величество, вспомните, что всякое слово вольное, всякое сочинение противузаконное приписывают мне. От дурных стихов не отказываюсь, надеясь на добрую славу своего имени, а от хороших, признаюсь, и силы нет отказываться». – «Но вы же афей!»

«Ваше Величество, как можно школьническую шутку взвешивать как преступление? Я всегда почитал и почитаю вас как лучшего из европейских властителей, но ваш последний поступок со мною противоречит вашим правилам и просвещенному образу мыслей». Тут бы царь рассердился и сослал меня в Сибирь, где я написал бы поэму «Ермак».

Улыбнулся: «А что? И напишу... Но прежде должна решиться моя судьба. Действительно ли новый царь хочет со мной встретиться, действительно ли хочет дать мне волю? И наверняка, как в воображаемом разговоре с Александром, начнет со стихов: это хорошо, это плохо. И не замедлит вставить: «У каждого из осужденных при обыске были обнаружены твои стихи».

Отвечу тем же образом: «Ваше Величество, вспомните, всякое слово вольное, всякое сочинение противузаконное приписывают мне. От дурных стихов не отказываюсь, а от хороших и силы нет отказываться».

«Но вы же афей!» – возмутится царь Николай. Хотя нет, скорее всего, не будет на это давить, хорошо понимая, что обвинение меня в безбожии было лишь формальным поводом для высылки из Одессы. Скорее всего, спросит: «Окажись ты 14 декабря в Санкт-Петербурге, вышел бы на Сенатскую площадь?» Я отвечу: «Да, был бы с моими друзьями». Царь Николай рассердится и сошлет меня в Сибирь, в Нерчинск. К Пушину. Там я напишу «Ермака». Или «Пугачева»...

Интересно, как выглядит новый царь. Наверняка такой же рыжий, как все Романовы, – немчура.

Блинков все молчал. То ли дремал, то ли о чем-то задумался? Нетрудно догадаться, о чем. О нелегкой своей фельдъегерской доле. Шестой год мотается по России, а ни повышения в звании, ни прибавления в жалованье: все те же 100 рублей в год плюс 25 рублей кормовых на 1000 верст. Попробуй, наверстай эти версты! А дали бы офицера, и жалованье было бы другое: 340 рублей в год. Вон Косторский пришел в отряд рядовым, а уже через год стал прапорщиком и еще через три года получил капитана. Быстро продвинулись Васильев, Дюшаков... Что же ему так не везет? А в Петербурге семья. Младшенькой всего полгода. И почему-то ему казалось, что она не его. Жена-золотошвейка чуть ли не божится: «Твоя она, твоя!» Но как ей верить, если месяцами дома не бываешь? Эх, если бы тогда, два месяца назад, вез Пушкина в Петербург как арестанта, наверняка бы премию дали или повысили в звании...

Удивительно, но спустя три года Пушкин и Блинков встретятся снова. На сей раз на Кавказе в действующей армии генерала Паскевича (шла война с турками), куда Пушкин, несмотря на все препоны, все же вырвется. Там он свидится с разжалованным в рядовые Михаилом Пушциным братом Ивана Пушина, другими декабристами. Особенно обрадуется Николаю Раевскому, командовавшему драгунским полком, давнему своему другу. И там же в палатке Паскевича столкнется с Блинковым.

«Так вы знакомы?» – удивится Паскевич. Блинков кивнет и тотчас удалится. «Как же, как же! – подтвердит Пушкин. – Четверо суток тряслись в одной коляске. В Москву. В Кремль». – «Вот как? – снова удивится Паскевич. – Должен сказать, усердный малый. Приставлен ко мне курьером. Я намерен ходатайствовать о повышении его в звании».

Такую бумагу Паскевич действительно направит в Главный штаб, но ходу ей там не дадут. А Блинкова вско-

ре уволят (по возрасту) и отправят туда, откуда пришел: в Санкт-Петербургский почтамт. Так, в общем-то, безрадостно завершится карьера одного из фельдъегерей России – Василия Михайловича Блинкова. Вот если бы тогда, в 26-м, доставлял Пушкина в Петербург как арестанта...

## Боровичи

Боровичи – пограничная с Новгородской губернией станция. Постоялый двор с конюшенными и прочими постройками, почтовая комната, комната для отдыха проезжающих, трапезная, меж окошек – знакомое изображение (лубок) Дениса Давыдова: он на лошади, в армяке и с окладистой бородой. Поэт-гусар, предводитель партизан, Денис Давыдов поистине стал народным символом Отечественной войны. Портрет его можно было встретить и в простой избе и в знатном доме. А стихи его – легкие, вольные, ходили по рукам, их цитировали и дворяне, и безграмотные крестьяне.

«Вот уж у кого поистине всероссийская известность. И поэт ловкий. Еще и меня учил: пиши круче».

– Чего изволите, ваше высокородие? – подошел долговязый парень в цветастой косоворотке.

– А скажи, любезный (уселся за стол), чей это протрет?

– Дениски Давыдова, ваше высокородие.

– Дениски? – Пушкин улыбнулся. – А что знаешь про него?

– Бил француза и писал веселые стихи.

– Это верно. И что помнишь?

– *«Сабля, водка, конь гусарской, с вами век мне золотой!..»*

– Молодец! А Пушкина знаешь?

– Нет, не знаю, ваше высокородие.

– Он тоже поэт.

– Нет, не слышал. Слышал про какого-то полковника Пушкина, что погиб на войне.

– Мусин-Пушкин? Да нет, он не погиб... А вообще, Пушкиных много. Особенно Мусиных. Ладно, голубчик, подай-ка мне щей. Да погорячей. И солонины. Продолжи...

– Из свинины.

– Вот видишь, и ты поэт.

Тот довольно улыбнулся.

– Да поживей, – смахнул со стола колючие крошки. – Адеркас, плохо кормите вы нас...

– Чего-то еще? – оглянулся долговязый.

– Это я так, к слову...

«Эх, Дениска! *«Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской!»* Для службы царской... Однако ж был выдворен из гвардии и отправлен куда подальше, в заолустный полк в Малороссии. За излишне вольные стихи. Собственно, Денис Давыдов стал первым из поэтов, к кому император Александр применил метод удаления. Отобрал и генеральское звание, якобы присвоенное по ошибке – видите ли, с другим Давыдовым спутали. Потом, правда, вернули... Не дай нам бог писать стихи да ссориться с царями...»

Подошел Блинков:

– Ваше благородие, лошади поданы.

– Хорошо.

– Утром надобно быть в Новгороде.

– Успеем.

Щи показались на удивление вкусными и солонина – под стать, тем более облагороженная бокалом бургундского.

В дверях, сгибаясь, возникла фигура в синем мятом мундире. Пушкин поднялся:

– Великопольский!

Тот несколько оторопел:

– Пушкин! Ты как здесь? А я из Великих Лук. Оформляю наследство, – сел напротив. – Человек, шампанского!

– Да погоди ты! Мне скоро ехать.

– Что так?

– Да тут неподалеку. А скажи, Иван, ты получил мое послание?\*

– Получил.

– Ну и? Там я просил тебя твой карточный долг мне – пятьсот рублей отдать Назимову, коему я должен столько же.

– Завтра же отдам. Может, в штосс? – достал колоду карт. – По-быстрому.

Пушкин ухмыльнулся:

– *Играешь ты на лире очень мило, играешь ты довольно плохо в штосс.*

Великопольский насупился. Он действительно картежник был слабый, как, впрочем, и Пушкин. Но Пушкин хотя бы не бахвалился своим пристрастием к игре. Великопольский же твердил на каждом шагу: «Карты – моя страсть». А играл из рук вон плохо. Тот же Назимов, у которого чаще всего и собирались, не раз говорил: «У Великопольского даже Пушкин выигрывает». Великопольский багровел и доставал новую колоду.

Другой его страстью, как сам утверждал, была поэзия. Поэт он также был посредственный. Писал, однако, много, закидывая московские и петербургские журналы одами и поэмами, где не успевали от них отмахиваться, что давало Пушкину повод позлословить. Великопольского это еще

---

\* Из послания А.С. Пушкина И.Е. Великопольскому:

С тобой мне вновь считаться довелось,  
Певец любви то резвый, то унылый,  
Играешь ты на лире очень мило,  
Играешь ты довольно плохо в штосс...

Сделайте одолжение, пятьсот рублей, которые Вы мне должны, возвратите не мне, но Гавриилу Петровичу Назимову, чем очень обяжете преданного Вам душевно Александра Пушкина.

12 июня 1826 г.

более злило. Вот и сейчас насупился, в глазах недобрые искорки.

– На твоё послание я тебе ответил.

Пушкин пожал плечами:

– Нет, не получал.

– Как же?

Тут Великопольский слукавил: своё послание, а по сути, эпиграмму («*И ногти длинные поэта от бед игры не защитят*»...) он не рискнул отправить Пушкину, зная, что тот ответит тут же и жестко. Вообще, длинные ногти Пушкина были притчей во языцех. Над ним то и дело подшучивали, а он лишь улыбался: «Так сподручнее играть в карты...»

Не дойдет до Пушкина и другая на него эпиграмма Велипольского. В ней он назвал его Аристом (тогда модно было прибегать к античным именам):

Арист – негодный человек,  
Не связан ни родством, ни дружбой,  
Отцом покинут, брошен службой,  
Провел без совести весь век...

Сочинил её Великопольский опять-таки после очередного проигрыша Пушкину. Расплатился он тогда семейными бриллиантами и 35 томами энциклопедии.

А эпиграмма куда как злая: *негодный человек... не связан ни родством, ни дружбой...* Стало быть, хорошо был осведомлен о делах Пушкина – домашних, служебных. Не исключено, что Пушкин сам в минуту отчаяния делился с ним своими невзгодами. Тот и решил ударить по самому больному.

Вообще Пушкин был очень доверчив, страдал от этого и давал себе слово впредь быть осмотрительным («*Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей*»).



В Одессе он всей душой потянулся к Александру Раевскому, старшему сыну прославленного генерала Раевского, того самого генерала Раевского, с семейством которого в свое время путешествовал по Крыму и Кавказу. Александр буквально втерся к нему в доверие. Пушкин же по наивности делился с ним своими сердечными муками, увлеченностью Елизаветой Воронцовой.

Тот сочувственно вздыхал, давал советы и делал все, чтобы о связи Пушкина и Елизаветы узнал ее муж, граф Воронцов. И граф напрочь отвернулся от Пушкина.

Александр Раевский, он же адъютант Воронцова, поспособствовал и тому, чтобы Пушкина отправили на борьбу с саранчой. А все потому, что сам был влюблен в Елизавету. И давно...

Великопольский наполнил бокалы, поднялся:

– И повод есть: меня произвели в майоры.

Пушкин остро взглянул на него:

– Наконец-то. Поздравляю!

– Выйду в отставку. Стану просто помещиком.

– А вот из меня помещик никакой.

– Твоя деревушка на Парнасе.

– Это я уже не раз говорил. Примечательная у тебя фамилия: Великопольский. Что здесь – великое поле или великий поляк?

– Великий поляк, разумеется.

– И сколько лет вам, Великопольским?

– Века три-четыре.

– А нам, Пушкиным, более шестисот.

В дверях снова показался Блинков, Пушкин незаметно кивнул ему, достал часы, щелкнул крышкой:

– Извини, Иван, мне пора, – Пушкину не хотелось, чтобы Великопольский видел при нем фельдъегеря: черт-те что может подумать. И уж тем более не собирался говорить ему, что следует в Москву.

– Ну будь здоров! – Великопольский снова наполнил фужеры.

– Будь здоров! И привет Назимову.

«Ну и фрукт этот Великопольский. Набивается в друзья, а друзей-то у него нет. Так, приятели. И не вылезает из карточных долгов. Как-то в Москве, сам же рассказывал, проиграл заезжему гусару 30 тысяч рублей. Покойница-мать так и не смогла ему этого простить... А вообще, скверный городишко, эти Боровичи. Здесь, в такую же осеннюю пору я сам проиграл кавалерийскому офицеру 1600 рублей. Дурацкие воспоминания...»

## Звонок

Это Алена.

– Вы были правы, – затараторила она. – Мы с Таней дважды прошли по лицу, и рассказы экскурсоводов действительно отличались: одна сказала, что на открытии лица была вся императорская семья, другая – что были только царь Александр с супругой. И кому верить?

– Первой, видимо, хотелось удивить вас: дескать, Пушкин встречался с будущим императором Николаем еще в лицее. Кстати, Николай был старше Пушкина всего на три года.

– Откуда вы знаете?

– У меня друг писатель.

– И о чем он пишет?

– Он детективщик.

– Не люблю дюдюки.

– Почему? Адреналин. Кстати, биография Пушкина еще тот детектив!

– И еще экскурсовод сказала, что первоначально предполагалось, что в лицее будут учиться и императорские

дети, но потом от этой затеи отказались. Ни к чему, дескать, цесаревичам сидеть за партами вместе с дворянскими сынками.

– Вот видите, и я узнал новое. Так вы теперь куда?

– В Петергоф. Потом на поезд и – в Москву. И завтра же – домой, в Волгоград.

– Вы из Волгограда?

– Странно, что Таня вам об этом не сказала.

– И задержаться в Москве никак не сможете?

– Никак. Нам нужно в колледж – Таня учится, я преподаю.

– И что же преподаем?

– Информатику.

– Вот как! Мне казалось, айтишники люди односторонние, скучные. А вы такая...

– Какая?

– Любите путешествовать.

– Да, люблю. Вот и Тане прививаю пытливость, любознательность.

– Пытливости ей не занимать. В Москве я буду шестого. А через два дня приедет Пушкин. Представляете, едет в коляске по Тверской.

– Представляю.

– Самое интересное, что никого особенно это не удивит: будет как раз день города; подумаешь, коляска на Тверской. Значит, так задумано было.

– Даже обидно. Пушкину – привет! И скажите, чтобы на Гончаровой не женился.

– Почему?

– Не знаю. Не хотелось бы. Так, наверное, многие думают. Или мало в Москве красивых девушек?

– Мало.

– Ну как же? Город невест.

– То давно было, когда по осени со всех губерний свозили в Москву девиц, дабы подобрать им бравого жениха.

- То есть были и немосквички?
- Конечно. В основном волгоградки.
- Ну вот еще! Такого и города не было – Волгоград.
- Значит, царицынки.
- Фу ты, господи! Совсем запутали. Вот Таня подошла, вам привет передает.
- Спасибо! И ей привет!
- Говорит, что по возвращении домой, будет много читать Пушкина и узнавать о нем в Интернете.
- Только имейте в виду: на странице может быть предостережение насчет ненормативной лексики.
- Да?
- Но не волнуйтесь, там будут точки.
- Успокоили. Ну что? До свиданья?
- До свиданья! И когда?
- Что когда?
- Будете в Москве. Расскажу вам о приезде Пушкина.
- Смешно, конечно, но интересно. Может быть, в декабре.

## Талисман

Осторожно через перчатку потрогал перстень на большом пальце правой руки: «Храни меня, мой талисман!».

Перстень этот с замысловатой караимской надписью подарила ему Елизавета Воронцова за два дня до их расставания. Себе заказала такой же. Перстни-близнецы, перстни любви...

А незадолго до этого вместе с мужем в окружении большой свиты Елизавета совершала морское путешествие вдоль берегов Крыма. Пушкин нисколько не сомневался, что и его пригласят. Но увы! К этому времени отношения его с Воронцовым настолько испортились, что о подобном и думать было нечего. Яхта ушла без него.

Яхта называлась «Утеха». Но вряд ли для Елизаветы она была утехой. Ее, гордую полячку, раздражало и зубоскальство одесских остряков, и расшаркивание мужних адъютантов. Утомлял и Александр Раевский, с которым была знакома еще по Белой Церкви (имение отца, польского магната Браницкого) и который в связи с чем полагал, что более других вправе рассчитывать на предпочтительное ее расположение к нему. Бесила Елизавету и ее подруга, молодая графиня Ольга Нарышкина (в девичестве Потоцкая – тоже полячка), с которой у Воронцова, о чем шептались по всем углам, любовная связь.

Не радовали и парижские шляпки, которые она скуки ради меняла дважды-трижды на день. Понимала: ей недоставало Пушкина. Его быстрого взгляда, зажигательных острот, записочек, нечаянных прикосновений.



*Е. К. Воронцова*

Или томило ее какое-то предчувствие? Во всяком случае, вскоре засобиралась в Одессу, сославшись на необходимость отправиться к детям в Белую Церковь. Воронцов не стал возражать («Как вам будет угодно...»), к тому же

сам намеревался по делам задержаться в Симферополе. Кстати, именно из Симферополя с нарочным он отправит одесскому градоначальнику предписание о незамедлительной высылке Пушкина из Одессы – во исполнение воли государя («за дурное поведение»).

Пушкин метался как раненный. Чем, как Елизавета могла его утешить?

О тайных их свиданиях знала, пожалуй, лишь княгиня Вера Вяземская, супруга Петра Вяземского, друга Пушкина, поэта, литературного критика, человека широко образованного и довольно язвительного, по крайней мере, в отличие от Жуковского не рукоплескал каждой пушкинской строчке, а всякий раз отмечал что-то его раздражающее. Пушкин высоко ценил своего старшего друга (разница в возрасте девять лет) за ум и литературный вкус. Именно его, Петра Вяземского строчку *«И жить торопится, и чувствовать спешит!»* поставит эпиграфом к полному изданию «Евгения Онегина».

В Одессу Вера Вяземская приехала для лечения младшего сына и дочери. Сняла дачу рядом с дачей Воронцовых – на берегу моря. Собственно, у Воронцовых Пушкин с ней и познакомился. Прежде знал ее со слов друзей, самого Петра Вяземского – как женщину умную, энергичную. В Вяземской он сразу же почувствовал родственную душу. Поверял ей свои сердечные тайны, сетовал на служебные неурядицы. Ей это импонировало. Да и понимала, что такое для молодого одинокого мужчины недостаток женского внимания.

Вообще, Пушкина тянуло к женщинам старше его. Еще в лицейские годы он влюбился в жену Карамзина, а было той уже далеко за тридцать. Карамзин, мэтр, классик на сердечные порывы юного поэта смотрел снисходительно: ну вьется вокруг супруги, каламбурит, сыплет остротами, пусть его! Талантлив все же.

Потом Пушкин страстно привязался к Голицыной, бездетной петербургской красавице, *princesse Nocturne* – княгине ночи, как ее называли. Старше она была его на двадцать лет. А какие строчки ей посвятил!

...Отечество почти что ненавидел.  
Но я вчера Голицыну увидел,  
И примирен с отечеством моим.

И ей первой отправил свою оду «Вольность». Ода та с легкой руки Голицыной разлетелась по всему Петербургу, пока не попала под тяжелую руку Александра I.

Что поделать: с раннего детства был лишен материнского тепла. Потому так нуждался в присутствии рядом умудренной жизненным опытом женщины, в ее советах и даже жалости. И часто вспоминал время, проведенное в семействе генерала Раевского во время путешествия по Кавказу и Крыму. «Суди, – писал он брату, – был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю, и которой никогда не наслаждался...»

Да и кишиневско-одесские возлюбленные Пушкина были старше его, разве что кроме гречанки Калипсо.

И вот теперь Вера Вяземская. Она полюбила его, как сама говорила, любовью дружбы. Видела и вспыхнувшую его страсть к Елизавете Воронцовой, и все большую холодность к нему Воронцова и его окружения. Читала ему «обширные проповеди», предостерегая от легкомысленных поступков:

– Вот и Петр Андреевич пишет...

– Знаю, знаю: будь осторожен на язык и перо, не играй своим будущим. А где оно, мое будущее? Мое будущее – стихотворство. Оно мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющее мне пропитание. Но

только в Москве или Петербурге можно вести книжный торг, ибо только там находятся цензоры, издатели и книготорговцы. Я же в двух тысячах километрах от столиц. А семьсот рублей, которыми правительству угодно вознаграждать мои утраты, я рассматриваю не как жалованье чиновника, а как паек ссылочному невольнику. Все это я изложил Казначееву, правителю канцелярии Воронцова, не сомневаясь, что содержание письма дойдет до графа. Несомненно, дошло. Я просил одного: отставки. Мне отказали. Меня и в отпуск за все четыре года, что я на юге, не отпустили. Зато направили на борьбу с саранчой. И это накануне моего дня рождения. Разумеется, я заехал к своему знакомцу и два дня у него пропьянствовал...

– Вы совершенно сумасшедшая голова, с которой никто не сможет совладать, – возмущалась Вяземская. – И эта ваша эпиграмма...

– Про саранчу?

– Да бог с ней, с саранчой. На графа Воронцова «Полугерой, полуневежда...»

– Не отказываюсь.

– Господи, никогда мне не приходилось встречать столько легкомыслия и склонности к злословию. Граф Воронцов – человек благородный.

– Англоман с холодными глазами.

– Герой Отечественной войны и вообще человек либеральных взглядов.

– Возможно, возможно. Но у него есть один недостаток.

– Какой же?

– У него красавица-жена.

– Господи, вы непослушны, как паж!

– Неумичивый, как говорит моя няня, – Пушкин расхохотался. – А на мой доклад о саранче граф, говорят, не обиделся. Скорее, был польщен: впервые служебный



рапорт получил в стихах. Хотя как ему верить? Человек он желчный, лукавый. Я бомбардировал Нессельроде письмами, прося отставку, а он, ваш любимый Уоронцов, оказывается, вел свою игру. И почему не сбежал в Константинополь?



*В.Ф. Вяземская*

Вера Федоровна знала о намерении Пушкина бежать в Константинополь (пока отсутствовал Воронцов) и даже помогала собрать деньги. Уже и корабль был определен. Не вышло...

Теперь вот – на Псковщину.

В дорогу собирала его все та же княгиня Вяземская. Купила для него коляску, рессорную, с откидывающимся верхом. «Потом продадим», – буркнул он. Дала взаймы 600 рублей. Какую-то сумму он сам набрал, гоня дядьку Никиту Козлова с записками по одесским знакомым.

«Однако же Воронцов не на одном мне отыгрался: выдворил из Одессы и Александра Раевского. Уж больно нагло тот увивался вокруг Елизаветы...»

– Храни меня, мой талисман!

– Вы что-то сказали? – отозвался Блинков.  
– Я так, про себя. Где мы сейчас?  
– Скоро Новгород. Через два перегона.  
– Новгород? Где-то в этих краях покоится мой предок Радша или Рачи, «пришедши из немец». *Он мышцей бранною святому Невскому служил...*

«Напишу, непременно напишу свою родословную. Для начала в стихах...».

По верху застучали капли, редкие, тяжелые, потом отчаянно забарабанили, и полил дождь. Колеса уже еле проворачивались в колее; лошади дергались вправо, влево. С трудом дотянули до станции.

– Придется переждать, – буркнул Блинков, выбираясь из коляски, и прямо по лужам направился к станционному домику.

Его фигура развеселила Пушкина: *«Отечества и грязь сладка нам и приятна».*

## **«Проклятое посещение, проклятый отъезд!»**

А потом приехала Керн.

Как же он ждал ее! Тригорские девицы изрядно надоели ему, тяготила и любовь крепостной Ольги, дочери михайловского управляющего Калашникова (к тому же забрюхатела, и предстояло как-то решать ее судьбу и судьбу будущего ребенка). А тут – Керн. Беглая генеральская жена, сменившая не одного любовника. Это возбуждало. В письме к своему приятелю Аркадию Родзянко, полтавскому помещику, у которого Анна в то время жила, он не скрывал своего нетерпения увидеть ее, добавляя при этом: *«Говорят, она премиленькая вещь».*

«Премиленькая вещь» гостила в Тригорском более месяца. Здесь знали историю Анны. В 17 лет ее выдали замуж

за генерала Керна, который был старше ее на 35 лет. Его, прокуренного солдафона, она откровенно презирала («Я бы в ад поехала, лишь бы знала, что там его не встречу!») В конце концов, сбежала. Прасковья Александровна Осипова, двоюродная ее тетка, женщина стойких патриархальных устоев, взяла на себя миссию вернуть беглянку мужу, для чего и пригласила ее в Тригорское, чтобы затем вместе отправиться в Ригу, где служил тот самый Керн.



*Анна Керн*

Догадывалась, конечно, что появление в Тригорском непутевой, как она называла Анну, принесет ей немало беспокойств, нарушит привычный расклад бытия, но чтобы настолько! К красавице Анне как мухи на мед тут же слетелись мужчины. Ладно, сосед Рокотов, балаболка и вообще неумный человек. Анну он вряд ли заинтересовал. Ладно сын Алексей – дело молодое, перебесится. Но Пушкин, Пушкин... Буквально вился вокруг нее – читал стихи, расточал остроты.

Да, Пушкин нисколько не сомневался, что покорит Анну. Прежде всего, как поэт. Она же предпочла своего кузена Алексея Вульфа.

«Проклятое посещение, проклятый отъезд!.. А Вульф оказался ловким ловеласом. Мало того, влюбил в себя пылкую Алину, охмурил генеральшу Керн. И даже последовал за ней в Ригу. А кто, скажите, учитель? Не я ли долгими вечерами посвящал его в науку страсти нежной, живописуя свои кишиневские и одесские похождения? Что же теперь, подарить ему книжку стихов и по примеру Жуковского подписать: «Победителю ученику от победленного учителя»? Нет уж... А вот стихи ей зря отдал. Но буквально вырвала из рук. Пусть не обольщается: стихи так себе – бледный романтизм, красоты. Гений чистой красоты. Что еще за гений такой? Да и строчку содрал у Жуковского»\*.

Но всего противнее было унижение перед ней в письмах: припадал к ногам, требовал любви, осуждал за ветреность и ревновал, ревновал. К мужу-генералу (*«Как поживает падагра вашего супруга?»*), к юнцу Вульфу (*«Почему его имя три раза на конце вашего пера в письмах ко мне?»*). Писал ей чуть ли не ежедневно. Едва отправит одно письмо, тут же садится за другое...

Кто бы сказал ему, что много лет спустя, оказавшись в бедности, она будет продавать их по пять рублей за штуку...

## В круге Собаньском

«Все-таки умерла. Еще в прошлом году. А узнал об этом только теперь. Как же долго порой доходят к нам житейские известия!»

Амалия... Стремительная, экстравагантная. Все одесские щеголи были без ума от нее. Мужу ее Ивану Ризни-

---

\* Василий Жуковский. «Я музу юную, бывало...» («О, Гений чистой красоты!»), Лолла Рук («Ах! Не с нами обитает Гений чистой красоты»).

чу (серб, негоциант – крупный торговец зерном), с одной стороны льстило такое внимание к его супруге, с другой – раздражало, но вида старался не подавать. Человек достаточно образованный (окончил Болонский университет), незаурядный и разносторонний, он был весьма заметной фигурой в аристократической Одессе, не говоря уже о том, что содержал театр.



*Амалия Ризнич*

Амалия Ризнич – полуитальянка, полунемка действительно была хороша: высокая, стройная; пламенные очи и коса до колен. Лишь один недостаток эстет Пушкин с досадой усматривал в ней: большие ступни. Но какая женщина без изъяна?! Потому и носила длинные платья.

Казино, вечеринки, пикники – все это Амалия. И пугающая бледность. Смерть словно витала над ней. А она продолжала носиться на лошади (мужская шляпа, костюм амазонки), много курила, много пила и до утра засиживалась за картами...

О смерти Амалии сообщил Пушкину его одесский приятель Туманский, чиновник канцелярии Воронцова и весьма недурственный поэт. Прислал и стихи «На кончину Р»:

Ты на земле была любви подруга:  
Твои уста дышали слаще роз,  
В живых очах, не созданных для слез,  
Горела страсть, блистало небо Юга.  
К твоим стопам с горячностью друга  
Склонялся мир – твои оковы нес;  
Но Гименей, как северный мороз,  
Убил цветок полуденного зноя...

С удивлением для себя Пушкин обнаружил, что печальное известие никак не тронуло его: «Из равнодушных уст я слышал смерти весть и равнодушно ей внимал я...» Не любил, значит? Да нет же, любил, страстно любил. И как-то по-особенному волновала ее роковая бледность, чувство почти что противоестественное: восхищение лихорадочной и хрупкой прелестью обреченного существа.

И ревновал. Никогда ни одну женщину так не ревновал. До умопомрачения, до иступления:

...Да, да, ведь ревности припадки –  
Болезнь, так точно, как чума,  
Как черный сплин, как лихорадки,  
Как повреждение ума\*.

Ревновал не к мужу, нет, а к своему сопернику: богатому шляхтичу Исидору Собаньскому, знаки внимания которого, дразня Пушкина, она также принимала. Такая вот любовь, отравленная ревностью.

Но скоро перегорел, тем более что на горизонте появилась другая женщина – ну и поворот! – жена брата Исидора Собаньского Гиеронима Собаньского – Каролина. О, это была еще та полячка: самолюбивая, надменная.

---

\* А.С. Пушкин. «Под небом голубым страны своей родной...»

Судьба Каролины сродни судьбе Анны Керн: совсем юную ее выдали замуж за пятидесятилетнего киевского помещика, грубого и развратного. Воспользовавшись временным нездоровьем (после рождения дочери), она добилась от местной римско-католической церкви разрешения впредь до выздоровления жить отдельно от мужа и уехала в Одессу.



*Каролина Собаньская*

Пушкин видел, что Каролина равнодушна к нему, как и ко всем другим своим поклонникам, коих было пруд пруди, но и догадывался, что связь с ним как с поэтом, чья популярность была несомненной и чьи стихи и в особенности южные поэмы цитировала вся Одесса, льстила ее честолюбию. Она вообще тянулась к знаменитостям, коллекционировала их автографы – герцог Веллингтон, писатели Шатобриан, Лафатер...

И уступила. С некоторой досадой, даже раздражением. Любила же она графа Витта, польского аристократа на русской службе и, по сути, стала его содержанкой. Тот ни в чем ей не отказывал: наряды, украшения, роскошные балы, маскарады. И наплевать ей было на то, что думают о ней

окружающие, как, впрочем, и Витту – жили открыто, везде появлялись вместе.

Но вернемся к письму Туманского. Из него Пушкин узнал, что вслед за Амалией Ризнич, здоровье которой после рождения ребенка резко ухудшилось, и доктора рекомендовали ей ехать на лечение в Австрию, Швейцарию, отправился в Европу Исидор Собаньский. Догнал ее в Вене, там и оставил.

Умерла Амалия на своей родине, в Италии. Двадцати двух лет от роду...

А вдовец Иван Ризнич через два года женится – надо же! – на младшей сестре Каролины Собаньской – Полине. Собственно, Каролина и состряпает этот брак.



*Оноре де Бальзак*

И это еще не все. Много позже в круг Собаньских попадет и Бальзак, женившись на овдовевшей еще одной сестре Каролины – Эвелине Ганьской. И станет Каролина свояченицей Бальзака, чем непомерно возгордится. Правда, ненадолго: через пять месяцев Бальзак умрет...

А графа Витта она, в конце концов, оставит и еще не единожды выйдет замуж, последний раз – за третьестепенного французского поэта Жюля Лакруа. И наверняка будет вспоминать великого Пушкина – страстного и неудержимого...



## Донжуанский список

«Амалия, Собаньская, Воронцова... – Пушкин усмехнулся: – пора составлять донжуанский список», – потянулся за тетрадкой, той самой, черной, масонской, которую вручили ему еще в Кишиневе. Ложу ту вскоре разогнали, а тетради (их три) остались у него – объемные, твердого переплета, плотной бумаги. Правда, на обложках пришлось выскрести масонский треугольник...

И кто была та первая, болью отозвавшаяся в его еще неопытном сердце? Бакунина, сестра лицейского товарища? Наталья, артистка царкосельского крепостного театра?

Наталья. Легкая, гибкая – предмет мучительных его фантазий и сновидений. *«...В первый раз, еще стыжуся, в женски прелести влюблен...»* С дюжину элегий посвятил ей: *«Робко, сладостно дыханье, белой груди колебанье...»*



*Екатерина Бакунина*

А в Екатерину Бакунину, старшую сестру лицеиста Александра Бакунина, влюблены были многие. Она тогда с матерью (отца уже не было) проживала на даче в Цар-

ском Селе и не раз навещала брата. Неугомонные юнцы буквально кружили вокруг нее, но никого из них она не удостоила своим вниманием. Для нее все они оставались просто шумливыми мальчишками – она была старше их на четыре года.

Равнодушной была и к Пушкину. А он уже не скрывал своей влюбленности, закидывал ее стихами:

Я слезы лью; мне слезы утешенье;  
И я молчу; не слышен ропот мой,  
Моя душа, объятая тоской,  
В ней горькое находит наслажденье.  
О жизни сон! Лети, не жаль тебя,  
Исчезни в тьме, пустое привиденье;  
Мне дорого любви моей мученье,  
Пускай умру, но пусть умру любя!

«Умру любя...», – Пушкин поморщился. – Страдания молодого Вертера».

А на стихи «К живописцу», опять-таки посвященные Бакуниной, другой лицеист, Корсаков, написал музыку. Получился очень даже неплохой романс, где лирический герой просит живописца написать портрет его возлюбленной. Почему здесь живописец? Потому что Бакунина сама была неплохой рисовальщицей, поэтому как бы в угоду ей. Романс распевали в лицее. Возможно, и она, усаживаясь за фортепьяно, иногда напевала пушкинское:

Представь мечту любви стыдливой,  
И той, которую дышу,  
Рукой любовника счастливой  
Внизу я имя подпишу.

Возможно...

По-европейски образованная (детство провела за границей), Екатерина Бакунина всерьез увлеклась живописью (брала уроки у самого Карла Брюллова) и как-то совсем скоро оказалась при дворе: на балу приглянулась императрице – умная, красивая, и та произвела ее во фрейлины.

Замуж разборчивая Бакунина выйдет поздно, в 39 лет – за отставного капитана Александра Полторацкого, двоюродного брата Анны Керн, который и познакомил ее с Пушкиным...

Покосился на Блинкова: тот все дремал, закутавшись в шинель. «Видать, предыдущая дорога – из Москвы в Псков – не на шутку утомила его. А мне легко! Да и бургундское разогрело. В воспоминания ударился».



*Е.А. Карамзина*

А как и почему увлекся женой Карамзина, сам понять не мог. Далеко не красавица, много старше его (ему 19, ей 36), истинно верная в супружестве. Вторая, кстати, жена Карамзина – единокровная сестра Петра Вяземского (внебрачная дочь его отца). Возможно, сама и подала повод,

сердечно, по-матерински приласкав и обогрев поэта. Друзья подшучивали над ним, а он лишь об одном мечтал: припасть к ее ногам.

В конце концов, написал ей письмо, в котором объяснился в любви. Екатерина Андреевна ничуть не рассердилась, но немедленно показала письмо мужу. Пришлось пригласить юношу и объяснить ему, что нельзя писать такие письма без достаточных поводов и оснований. Сам Николай Михайлович, пожурив «маленького» Пушкина, много смеялся. Смеялась и Екатерина Андреевна. Красный от стыда и смущения, он принес повинную...

Ослабил шейный платок: «Маленький» Пушкин. А то не догадывались, что буду великим?! Все же включу ее в список: Екатерина II. Потому как Екатерина I – Бакунина. Кому надо, поймет».

Пушкин продолжал бывать в доме Карамзиных, там и встретил княгиню Авдотью Голицыну: черные как смоль волосы, черные выразительные глаза, изысканные изгибы фигуры – богиня! Как устоять перед такой?

Тот же Карамзин сообщал друзьям: *«Поэт Пушкин у нас в доме смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера: лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви».*

Тут Николай Михайлович ошибся – уже написал:

Простой воспитанник природы,  
Так я, бывало, воспевал  
Мечту прекрасную свободы  
И ею сладостно дышал.  
Но вас я вижу, вам внимаю, –  
И что же?.. Слабый человек!..  
Свободу потеряв навек,  
Неволю сердцем обожаю.

В красоте Голицыной, по отзывам современников, было что-то пластическое, напоминающее древнегреческое изваяние. Дом ее на Большой Миллионной улице (рядом с Зимним дворцом) отличался изяществом и строгостью отделки, так что заходили в него как в храм, принимающий только избранных. И сама хозяйка скорее напоминала некую жрицу, имея пристрастия к особым нарядам свободного античного покроя. Неспроста поэтому Карамзин назвал ее Пифией. (Пифия – жрица-прорицательница в храме Аполлона на склоне горы Парнас).



*А.И. Голицына*

Экспансивная провозвестница женской эмансипации, она во времена войны с Наполеоном, подчеркивая свою принадлежность к «русской партии», могла явиться на бал в русском сарафане и кокошнике, этакой, по выражению Вяземского, «возрожденной Марфой Посадницей».

Еще возбуждал Пушкина мистицизм Голицыной, коему и сам был привержен. Известная парижская прорицательница Ленорман, та, которая предсказала насильственную смерть Марату и Робеспьеру, нагадала ей, что умрет она

ночью, во сне. С тех пор княгиня стала бояться спать ночью. Отсыпалась днем. Ее славившийся на весь Петербург салон оживал поздним вечером и не затихал до утра. Здесь бывали Батюшков, Карамзин, Жуковский, Вяземский, братья Тургеневы – все арзамасцы. И все восхищались ею. Пушкин же не отходил от нее: бледнел, краснел...

«Кто дальше? – почесал карандашом затылок: Екатерина Раевская, старшая дочь прославленного генерала Раевского, с семейством которого путешествовал по Кавказу и Крыму. Все пыталась учить меня английскому. Я притворно противился и, глядя в ее красивые глаза, все повторял: мне достаточно трех слов – *I love you!*»



*Екатерина Раевская*

Екатерина вскоре вышла замуж за молодого генерала Михаила Орлова, будущего декабриста, которого Пушкин знал еще по Арзамасу и с которым не раз встречался в Кишиневе и Каменке в имении Давыдовых под Полтавой. И, понятно же, ему не хотелось, чтобы Михаил догадывался о тайной любви его к Екатерине, почему и просил Бестужева при напечатании в «Полярной звезде»\* гурзуфской элегии

\* Литературный альманах, издаваемый К.Ф. Рылевым и А.А. Бестужевым в 1823–1825 гг.

«Редает облаков летучая гряда...» исключить последние три стиха:

Когда на хижины сходила ночи тень —  
И дева юная во мгле тебя искала  
И именем своим подругам называла.

Бестужев не внял просьбе Пушкина и напечатал элегию полностью. Пушкин был взбешен: *«Ты подставил и меня, и ту, которой посвящены эти стихи. Да одной мыслью этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики».*



*Аглая Давыдова*

Там же, в Каменке Пушкин увлекся женой одного из братьев Давыдовых: Аглаей – женщиной откровенно доступной, о чем муж, конечно же, не мог не знать и по-тому полагал, что и ему не пристало быть святошей. Легко добившись ветреной француженки (Аглая была дочерью француза-эмигранта), Пушкин потом цинично измывался над ней:

...Иной имел мою Аглаю  
За свой мундир и черный ус,  
Другой за деньги – понимаю,  
Другой за то, что был француз...  
Скажи теперь, мой друг Аглая,  
За что твой муж тебя имел?

Чрезмерная доступность и погубит Аглаю: она умрет от сифилиса...

Потом Кишинев – беглая гречанка из Константинополя Калипсо. Еще та плутовка! Как и ее мать: она занималась знахарством. Обе, оплакивая свою судьбу, всячески давили на жалость кишиневской публики. Мать даже написала слезное письмо великому князю Константину Павловичу, брату государя Александра, моля его о помощи. Тот, войдя в их положение, назначил им пенсией и попросил генерал-губернатора Воронцова навестить несчастных. Воронцов, не смея перечить царственной особе, съездил к ним с соблюдением требуемого церемониала и потом был крайне раздосадован, узнав, какой дом он посетил...

Калипсо еще утверждала, что она – бывшая возлюбленная самого Байрона.

«Любовница Байрона! – Пушкин развеселился. – Легенда, конечно. Но красивая легенда! – стремительно, двумя-тремя штрихами набросал портрет Калипсо. Главное – ястребиный нос». Вот и строчки, посвященные ей:

Ты рождена воспламенять  
Воображение поэтов,  
Его тревожить и пленять  
Любезной живостью приветов,  
Восточной странностью речей,  
Блистаньем зеркальных очей  
И этой ножкою нескромной...



Потом цыганка Людмила. Муж ее, молдавский помещик Шекора, узнав о связях жены с Пушкиным, вызвал его на дуэль. Ладно дуэль (вызов Пушкин принял с подчеркнутой невозмутимостью и даже с некоторым любопытством: как оно, глядеть в глаза рогоносца?), но зачем Людмилу запер на замок? Тиран! Дуэль не состоялась. Пушкина Инзов упек на десять суток на гауптвахту, еще и сапоги велел отобрать, чтобы тот не сбежал, а чету Шекора отправил на год за границу.



*Калипсо. Рис. Пушкина*

Потом – Пульхерия, дочь богатого купца, члена Верховного совета Бессарабии – полная, круглая, свежая девица. Потом снова гречанка – Мария Эйхфельт. Это была общая с Алексеевым возлюбленная. Потом Мария Балш, дочь молдавского боярина. Потом – снова Екатерина (уже какая по счету?), жена генерала Альбрехта, жуткая ревнивица и вдобавок коварная. Из желания отомстить Пушкину за язвительные слова, дескать, привлекают его в ней пылкие страсти и ее историческое прошлое (третий раз замужем), спровоцировала стычку мужа с Пушкиным. Спасибо Алексееву: успел задержать руку поэта с занесенным канделябром. Дело, понятно, дошло до дуэли. И снова Инзов упрятал Пушкина на гауптвахту.

Потом – Одесса.

«Ризнич, Собаньская, Воронцова. Нет, Собаньскую не стану включать. По-иезуитски истерзала душу. А Воронцова пусть будет. И Вера Вяземская – тронула, тронула сердце, да и сама, в борении с собой, отвечала взаимностью. И всех тригорских барышень включу. И Керн, черт ее подери!.. Да что я все про баб? Знать бы, что ждет меня в Москве...»

## Байрон

Коляску слегка покачивало. «Как шлюпку на волнах, – пронеслось в голове, – в Гурзуфе». Воспоминания согрели душу. Хорошо ему там было, в окружении семьи Раевских. Сам генерал, прошедший несколько войн, – с виду жесткий и суровый, на самом деле добрейший человек. Сын его Николай, тогда еще корнет, однако же успел побывать под ядрами вместе с отцом и под Смоленском, и под Бородино, и под Тарутино. Это он, разыскав Пушкина на окраине Екатеринослава в убогой хате, больного и совершенно разбитого (приключилась лихорадка), уговорил отца взять опального поэта с собой, благо в свите был доктор. Доктор тут же побрил Пушкину голову и водрузил татарскую феску.

Дочери генерала Раевского Екатерина, Мария, Елена – юные, легкие. Гуляли по окрестностям, купались, читали Байрона, правда, на французском. Там, у моря Пушкин написал стихи:

...Как я завидовал волнам,  
Бегущим бурной чередою,  
С любовью лечь к ее ногам!  
Как я желал тогда с волнами  
Коснуться милых ног устами!

Какой из них посвятил? Катерине, Марии, четырнадцатилетней Елене? Каждая считала, что ей...

А шлюпку все покачивало, и все сладостнее подступала дремота. В темноте он пытался разглядеть склонившееся над ним лицо: Амалия? Каролина? «Это я, Калипсо!» Да, Калипсо. Только у нее одной такой большой нос. «Мы плывем на мою родину, в Грецию, – шепот горячих губ. – Там я познакомлю тебя с Байроном». Как же нескладно с ней целоваться! Ястребиный нос ее буквально вдавливался в его щеку. И едва приметная грудь. Как Байрон мог полюбить такую?

Тот же горячий шепот: «Байрон смелый человек. Он приехал защищать Грецию». Но какие чувственные губы! Каждый поцелуй отзывался в ней дрожью, словно тело ее пронзала небесная молния. Взяла гитару, запела тоскливую, почему-то турецкую песню. Как есть Гетера! Гитара – гетера. Чем не рифма? Но как же горячи губы! «Вон, видишь, большая лагуна. За ней – Миссолонги. Там – Байрон. Только не утомляй его: у него лихорадка». – «Лихорадка? У меня тоже была лихорадка. Болезнь поэтов!»

Спрыгнула с его колен. «Джордж, я привезла к тебе Пушкина, он – русский поэт». Байрон приподнялся на подушках: большой белый лоб в обрамлении темных кудрей. «Пушкин? Я слышал о вас, но ничего, к сожалению, не читал». – «Он пишет роман в стихах, его герой – человек, пресыщенный чувствами, отравленный светом». – «Я уже написал «Чайльда Гарольда». – «Но у меня свой Чайльд Гарольд, русский». – «Сколько вам лет, Пушкин?» – «Двадцать семь». – «А мне уже тридцать шесть. Поторопитесь, – опустился на подушки. – В чем она, слава? *Мы пишем, поучаем, говорим, ломаем копы и ломаем шеи, чтоб после нашей смерти помнил свет фамилию и плохонький портрет...*» – «А я за упокой души вашей свечку поставил...»

Пушкин вздрогнул: «О боже, что я мелю? – вытер похолодевший лоб:

- Останови, любезный!
- В чем дело? – спросил фельдъегерь.
- Мне надо пройтись. Душно...

## Дарья Пожарская

Дорога все более пылила, и все чаще встречались экипажи, кареты, пролетки.

- Похоже, близко город. Торжок, что ли?
- Так точно, ваше благородие, Торжок. Вон и купола.
- Горят как! А им вторят медные клены.

«Где-то тут неподалеку Малинники, там – Анна Вульф, – усмехнулся: *«Носите короткие платья, так как у вас прехорошенькие ножки»*. Ловко Прасковья Александровна сплавила ее сюда. Надо бы на обратном пути заскочить. На обратном пути? А будет ли он, обратный путь? О господи, о чем это я?...»

Высунулся из коляски:

- Красота! В Торжке, говорят, тридцать церквей.
- Я одну знаю, Ильинскую, – откликнулся Блинков. – Там в нижнем приделе на ночь оставляли тело покойного императора Александра на пути в Петербург. Можете поставить свечку за упокой души его. Да вон она, с высокой колокольней.

«Он что провоцирует меня? За упокой души душителя свободы – каламбур, однако – извечного моего гонителя, к тому же с печатью отцеубийства на челе? Ни за что!»

Выбрался из коляски, размял ноги:

- Ну, брат, утомил ты меня.
- Только недолго, ваше благородие, отметим подорожную, поменяем лошадей...

– Сначала все же в гостиницу, побриться, почистить платье. И дарьиных котлет отведать. Верно?

– Мы все больше щи хлебаем, – буркнул Блинков.

Трактир располагался тут же, на площади – сюртуки, форменные фуражки – шумный, прокуренный.

– Ну, здравствуй, Дарьюшка! – подошел к стойке.

– Здравствуйте, барин!

– Не признаешь меня?

– Нет, барин, не признала.

– Два года назад ты потчевала меня своими котлетами.

– Барин, здесь столько проезжают – князья, графья. Князь Волконский так по несколько раз в году бывает.

– Это какой Волконский?

– Петр Михайлович, генерал. Он даже в Петербург меня приглашал.

– Зачем?

– Чтобы научила его поваров делать котлеты, которые ему так понравились. Он и название им дал – пожарские. По нашей фамилии.

Так оно и есть: своим происхождением котлеты пожарские обязаны князю Волконскому. Как-то приехал он в Торжок совсем затемно и попросил чего-нибудь сытного: «Хорошо бы котлет». Телятины на кухне не оказалось, и Евдоким Пожарский, владелец трактира (разбогатевший ямщик) велел дочери настрогать отварной курицы, кусочки мелко подробить и слепить их в котлеты. Дарья так и сделала. Котлеты те князю чрезвычайно понравились. Оценили их и другие постояльцы, проезжающие. Слава о пожарских котлетах прокатилась по всей государевой дороге.

На площади – мужики, бабы и множество всякого товару. И даже как-то весело. К ярмаркам Пушкин пристрастился еще в Михайловском. Устраивались они близ Святогорского монастыря. Полюбил их праздничный гул, пьяные драки, сочное словцо.

– Здорово торжокцы!  
– Мы не торжокцы, мы новоторы.  
– Это как же?  
– А так, барин. Город всякий раз горел, и всякий раз жители ставили новый Торг, потому и назвали себя новоторами...  
– Во как!  
– Купите чего-нибудь?  
– Непременно! – подошел к сверкающему блесками прилавку: расшитые золотом и серебром кафтаны, кокошники. – Вот эти поясы. Один, другой, третий, да – все.  
– Благодарствую, барин! – вспыхнула русоволосая новоторка. – Я в цене уступлю.  
– Ну и славненько! Сама расшивала?  
– Я и сестренки, и маменька. У нас целая артель. И у Гусиновых артель. И у Подверстовых... Мы же – золотошвей.  
– Умницы какие! Золотится святая Русь! И куполами, и поясами. Заворачивай!  
Подъехал Блинков:  
– Пора, ваше благородие.  
– Едем. Вот только поручу станционному смотрителю отправить посылку одной приятной даме...  
И снова стук копыт и пыль из-под колес.  
«Когда-нибудь, по примеру Радищева, опишу сие путешествие. Но не из Петербурга в Москву, а из Москвы в Петербург. Впрочем, что загадывать?..»

\* \* \*

Гостиница «Пожарская», в которой Пушкин потом еще не раз останавливался, сейчас, спустя два века, на реконструкции. Опять-таки после пожара. (Гостиница Пожарского после пожара!) Второго или третьего пожара. Последний, как говорят, случился совсем недавно: подожгли ее заезжие рэкетеры. Стены гостиницы теперь синие, хотя, по воспоминаниям старожилов, всегда были бежевые.

А напротив, здесь же, на Ямской – музей Пушкина. Приземистое деревянное зданьице: стилизованный уголок станционного смотрителя – стол, перья, чернильница, сургуч, графин для наливки и стаканчик; дорожная атрибутика – сундук, саквояж, каковой наверняка и был у Пушкина, мини-бар, мини-бюро, несессер; портреты друзей, знакомых поэта. Тут же портрет Дарьи Пожарской: пышная, румяная, с младенцем на руках.



*Музей А.С. Пушкина в Торжке*

– Дарья Евдокимовна, – поясняет экскурсовод Галина Васильевна, – никогда замужем не была. А на руках у нее сын князя Петра Михайловича Волконского. Того самого, которому так понравились ее котлеты. Князь пожелал, чтобы Дарья стала крестной матерью его сына. Так что не такой уж простой была ямщица Дарья. И трактир держала и гостиницу. Котлеты пожарские наверняка отведали?

– Так себе, рубленая курица.

– Но по тем временам котлеты были совсем необычные. Их Пушкин даже запечатлел в стихах к своему знакомцу Соболевскому:

На досуге отобедай  
У Пожарского в Торжке,  
Жареных котлет отведай  
(именно котлет)  
И отправься налегке...

- Налегке... Хорошо сказал!
- Чтобы дорога была легкой. И в музее пояса побывали?
- Побывал.
- Пояс в русском костюме – главный атрибут. Вот и Пушкин купил для княгини Вяземской пояса. Целую дюжину.
- Зачем столько?
- Надо знать Пушкина: любил удивлять. Хотя, как мне думается, дело тут в другом. Роскошными поясами он решил погасить свой одесский долг княгине – шестьсот рублей. Деньги-то она отказалась принять; их Пушкин передавал с Пуциным, когда тот навещал его в Михайловском в январе 25-го. «Он, Пушкин, хорошо делает, когда при деньгах вернет долг», – был ответ Вяземской. В итоге Пуцин вернул деньги Пушкину.
- Понятно. Спасибо вам, Галина Васильевна, мне – дальше.
- А на могилу Анны Керн не хотите съездить? Это рядом, в Прутне.
- Что-то не хочется.
- Правда, место ее захоронения утрачено: надгробный камень туда-сюда передвигают.
- Нет, не поеду. Да и времени в обрез. Тем более что Пушкин уже покинул Торжок.
- Она понимающе улыбнулась:
- Да, уехал. Так что догоняйте. До Москвы еще восемь почтовых станций...



## «Вот я вас!..»

«Через два дня – Москва. Какая она нынче? Широкие улицы, бульвары, каменные дома. Но кто у него там из друзей, знакомых? Почитай, никого. Старая писательская гвардия давно перебралась в Петербург. Да и Вяземский все больше в столице обитает. Есть дальние родственники Трубецкие, Веневитиновы, но их он совершенно не помнит. И еще Левушкины друзья по пансиону: Соболевский, Нащокин. А из родных – один дядюшка Василий Львович. Эх, дядюшка! За два года, что я в Михайловском, так и не решился на переписку со мной. Явно струхнул: как бы самому не впасть в немилость. Еще и отговаривал Пущина от поездки ко мне. А то не знал Пущина!.. Да и на юг не очень-то писал».

Пушкин плотнее закутался в шинель: «Или обиделся за что? За элегию «Ах, тетушка! Ах, Анна Львовна!», которую мы с Дельвигом, разгоряченные бургонским и лицейскими воспоминаниями, сочинили в память о почившей дядюшкиной сестре: «Увы! Зачем Василий Львович твой гроб стихами обмочил?» Но ведь шутка...»

Элегия действительно получилась грубоватая. Это подметил и Вяземский, которому Пушкин не замедлил показать ее: «Если «Ах, тетушка! Ах, Анна Львовна» попадет на глаза Василию Львовичу, то заготовь другую песню, потому что он, верно, не перенесет удара».

Василий Львович перенес удар, тем не менее, почувствовал себя оскорбленным: так поглумиться над памятью его сестры!

Холодно об элегии отозвалась и Прасковья Александровна Осипова: «И что, собственно, находите в ней много?» Как мог, отшутился: «Надеюсь, сударыня, мне и барону Дельвигу разрешается не всегда быть умными». Но понимал: попал впросак. И попросил того же Вяземского убедить

дядюшку, что сочинил сию элегию вовсе не он, а какой-то другой беззаконник. Дядюшка, конечно же, не поверил.

Он вообще болезненно воспринимал шутки, и друзья-приятели, зная эту его слабость, охотно подтрунивали над ним. Порой жестко: трижды объявляли о его смерти, однажды даже публично. Ответил он по-своему афористично: *«Слух сей не лжив: я жив»*.

А сколь комичен был прием Василия Львовича в «Арзамас»!\* Водили его с завязанными глазами по коридорам, парили на диване под шубами, да настолько усердно, что он, далеко уже не молодой человек и сильно одутловатый, едва не задохнулся. Сам же он искренне верил, что так все и должно быть, что через такой обряд прошли все арзамасцы. На самом же деле он один был удостоен такой участи. Узнав об этом, Василий Львович несказанно расстроился, даже возмутился, но его быстро утешили, избрав старостой «Арзамаса».

Правда, вскоре лишили этого статуса: за слабые стихи. Вообще-то, экспромты, которые он сочинил по дороге из Петербурга в Москву. Ехали тогда втроем: он, Вяземский и Карамзин. Вяземский задавал первую строчку, а Василий Львович должен был продолжить. Куплеты получались смешные, но не настолько оригинальные, чтобы представить их на суд арзамасцев. Василий Львович рискнул. Те лишь покачали головами: нет, не поэт. Знать, не быть ему и старостой. Дядюшка рассердился уже не на шутку и направил им гневное послание: *«Я слух ваш оскорбил, вы оскорбили друга...»*

---

\* «Арзамас» (1815–1818) – литературно-общественное сообщество, членами которого были не только писатели нового, так называемого карамзинского направления (романтизм, разнообразие тем и жанров, живой русский язык), но и либерально настроенные чиновники, офицеры. Формально «Арзамас» был создан в противовес обществу «Беседа любителей русского слова» (1810–1816) во главе с писателем-адмиралом А.С. Шишковым, отстаивавшим устаревшие литературные формы и архаичный язык. Высшей же своей целью арзамасцы считали формирование по-европейски передовой русской культуры и русской литературы.

Пожалели, вернули ему прежний статус. Да и понимали: возраст. Василию Львовичу было уже за пятьдесят. И прозвище дали новое: *Вот я вас* (прежнее было *Вотрушка*).

Прозвища были у всех арзамасцев – по названиям персонажей баллад Василия Жуковского: Константин Батюшков – *Ахилл*, Петр Вяземский – *Асмодей*, Филипп Вигель – *Ивиковый Журавль*, попечитель Санкт-Петербургского округа Сергей Уваров – *Старушка*, граф и начинающий дипломат Дмитрий Блудов – *Кассандра*, чиновник коллегии иностранных дел Дмитрий Дашков – *Чу*, Александр Пушкин – *Сверчок*, сам Жуковский – *Светлана*...

Лицеиста Пушкина в «Арзамас» приняли заочно – без обязательной вступительной речи и прочих условностей. Впрочем, к этому времени «Арзамас», по существу, уже распался. Во-первых, не стало самого предмета изобличения: «Беседы любителей русского слова» – самоустранилась. Во-вторых, в «Арзамас» потянулись люди, в общем-то, далекие от литературы: общественные деятели, военные. Тот же Николай Тургенев – историк, те же Михаил Орлов и Никита Муравьев – офицеры; все трое будущие декабристы.

В их планы входило придать «Арзамасу» социально-политическую направленность и даже издавать под его эгидой журнал. Арзамасцы-литераторы решительно этому воспротивились и на последнем (20-м) заседании объявили о ликвидации общества. Но в душе каждый из них навсегда остался арзамасцем...

Подшучивал над дядюшкой и племянник Пушкин. Так, поручил Вяземскому получить у Василия Львовича 100 рублей, которые тот изволил забрать у него, когда его, мальчишку, осенью 1811 года везли в Петербург для определения в лицей, и которые дали ему бабушка и тетушка «на орехи». Причем, получить просил с процентами, а именно 200 рублей. Вяземский на сей раз не стал рисковать, видя, что Василий Львович и без того в обиде на племянника.

«Да что я гоню на дядюшку?! Я был желторотым птенцом, когда он уже всюю громил шишковцев, шаховских и прочих архаистов...»

Хмурое, низкое небо, унылая дорога. Достал тетрадь, раскрыл в нужном месте. «Вот он, сложенный вдвое лист: *«Пророк»*. *«Великой скорбью томим, в пустыне мрачной я влачился...»*. *Великой скорбью... Скорбью – плохо, лучше сказать «духовной жаждою»*. *«И шестикрылый серафим на перепутье мне явился, перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он...»* Тут нормально. *«Как труп в пустыне я лежал, и бога глас ко мне воззвал: восстань, восстань, пророк России, позорной ризой облекись, идя и с вервием вокруг выи царю губителю явись»*, – повертел карандашом: *«К убийце гнусному явись»*. Перечеркнул строфу и быстро записал:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,  
Исполни волею моею  
И, обходя моря и земли,  
Глаголом жги сердца людей.

Это божие слова. А пророк – поэт».

Перевернул тетрадь, как обычно это делал, просматривая записи. Набросок письма Плетневу. «...*Не будет вам Бориса, прежде чем не выпишете меня в П.<етер>Б.<ург> – что это, в самом деле? стыдное дело... Так и быть: отказываюсь от фрака, штанов, – усмехнулся, – и даже от академического четвер<та>ка (что мне следует), по крайней мере, пускай позволят мне бросить проклятое Михайловское... А ты хорош! Пишешь мне: переписывай да нанимай писцов Опоческих, да издавай Онегина. Мне не до Онегина. Чорт возьми Онегина!..»*

Захлопнул тетрадь: «И в самом деле, не до Онегина...»

---

## Москва

### Хозяин

Дежурный по Кремлю генерал Потапов строго взглянул на Пушкина, на Блинкова. Последнего тут же отпустил, поблагодарив за службу, а Пушкина попросил задержаться.

Пушкин снял запыленную шинель, шляпу. «Даже привести себя в порядок не дали».



– Вас ждет генерал Дибич, – сказал Потапов и для важности протянул Пушкину лист бумаги: *«Нужное, 8 сентября. Высочайше повелено, чтобы вы привезли его в мои комнаты, к 4 часам пополудни»* – распоряжение Дибича.

Взглянул на часы:

– Пора!

Прошли длинными безлюдными коридорами вдоль множества дверей с надраенными табличками.

«Коридоры власти», – Пушкин усмехнулся.

– Господин Пушкин! – Дибич поднялся, сияя свежими золотыми погонами – рыжий, плотный, с короткой шеей, ладонь мягкая. – Как доехали?

– С божьей помощью...

– Да, путь от Пскова неблизкий. Как там Борис Антонович?

– Человек он весьма достойный.

– Говорят, мост через Великую строит.

– И дороги мостит.

– Вот как! А вообще губернатор он слабенький. У меня там сродственница по жене, – одернул френч, шагнул за высокую дверь и тотчас вернулся:

– Прошу вас, Александр Сергеевич!

Мягкий топкий ковер, приглушенный свет задрапированных окон. Слева от стола отделилась фигура не то в сюртуке, не то во фраке.

«Ничуть не выше меня», – мелькнула мысль.

Шагнул навстречу, легко, пружинисто.

«И, слава богу, не белокурый».

– Ну, здравствуй, Пушкин!

– Ваше Величество...

– Зачем так высокопарно? Зови меня просто «государь» или лучше «хозяин», – лукаво улыбнулся. – А вот ты истинно милостивый государь. В поэзии. Пушкин, ты рад, что я тебя пригласил?

– Позвольте выразить Вам....

– Полноте. Делать добро – наш долг, – указал на резное мореного дуба кресло, сам уселся напротив. – Я еще раньше хотел тебя пригласить, в Петербург. Петербург – моя вотчина, знаешь. Но потом решил перенести встречу в

Москву на после коронации, пардон, инаугурации. Теперь я законный властитель земли русской и веду с тобой, великим русским поэтом, разговор. Символично, не правда ли? Да о тебе вся Россия знает! В школьной программе твои сочинения. Как там у тебя? *Уж роща отряхает последние листы...*

– *С нагих своих ветвей...*

– А твой «Евгений Онегин»? Ты что, действительно, семь лет его писал?

Пушкин несколько растерялся:

– С перерывами.

– А вот Бальзак по роману в год выдавал. Белинскому твоя Татьяна не понравилась.

– Белинскому?

– Был такой критик. Потому что предпочла любовь замужеству без любви: *«Но я другому отдана, и буду век ему верна»*. Ну что это такое?

Пушкин продолжал пребывать в замешательстве:

– Воспитание.

– Воспитание, говоришь? Сам вон какой донжуанский список составил.

«И об этом знает?»

– Сколько их там у тебя?

– Да шутка это.

– Понимаю...

В дверях появился Дибич:

– Ваше превосходительство, по первой линии губернатор Адеркас.

– Соедини! – мельком взглянул на Пушкина: – извини! Здравствуйте, Борис Антонович!.. Да, Пушкин здесь, у меня. Вы все правильно сделали. Когда отправляетесь к новому месту службы? На Крещение? Хорошо! Передавайте дела своему заму и отправляйтесь. Добрых вам дел, Борис Антонович!

Повернулся к Пушкину:

– Вот так: вслед за тобой Псков покидает и твой губернатор. Прямо-таки совпадение. Он давно стремился выбраться из Псковщины, – испытывающее взглянул. – Кстати, как твое здоровье?

– Спасибо! Я вполне здоров, Ваше Величество... государь... хозяин.

– А то слышал, какая-то болячка к тебе прицепилась.

– Уже отцепилась, – Пушкин засмеялся.

– Отцепилась? – тоже засмеялся. – А вообще не стесняйся, лучшим врачам тебя покажем. Но давай к делу. Над чем сейчас работаешь?

– Закончил трагедию «Борис Годунов».

– Годунов? Это хорошо. Смутное время. «Историю» Карамзина читал?

– Разумеется.

– У тебя, слышал, какой-то конфликт с ним был?

– Упаси господи, я глубоко уважаю и ценю Николая Михайловича. Просто одно время старик отдалился от меня.

– Из-за эпиграммы? Насчет кнута и пряника?

– Насчет самовластья и прелести кнута\*.

– Н-да-а, – поерзал на стуле. – Чай, кофе? Извини, сразу не предложил.

– Чайку, пожалуй.

Нажал на кнопку. Слева в дверях появилась девица, вернее, ее ноги – длинные в прозрачных чулках. Пушкин привстал, чувствуя, как кровь приливает к его лицу:

– Бон жур, мадмуазель!

---

\* Автору «Истории государства Российского»:

В его «Истории» изящность, простота  
Доказывают нам, без всякого пристрастья,  
Необходимость самовластья  
И прелести кнута.



– Здравствуйте, Александр Сергеевич, – пропела она, распахнув глаза.

Хозяин понимающе ухмыльнулся:

– Наденька, два чая, – и уже к Пушкину. – К чему эти «бон жур», «мадмуазель»? Мы же в древней Москве, древнейшей, можно сказать, так что давай – по-русски. Дабы святые купола не смущать. Вон они, – указал на окно, – смотри, как сияют.

А ноги девицы уже вышагивали к нему.

Пушкин снова приподнялся:

– Мерси!

Хозяин снова улыбнулся:

– А скажи, Пушкин, как ты считаешь, какой России нужен правитель?

– Ваша светлость... господин. По своим убеждениям я – монархист.

– Государственник, как сказали бы сегодня.

– Словом, я за просвещенную монархию.

– Складно, складно! – пристально взглянул на него: а, знаешь, у меня свои декабристы. В прошлом декабре вышли на Болотную площадь: долой, долой! То бишь меня долой. А площадь-то – Болотная. Этим все и сказано. Слава богу, до крови дело не дошло. Как там у тебя? Страшнее нет русского бунта.

– Не приведи бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный.

– Вот-вот, – помолчал, – а скажи, если бы ты тогда каким-то чудом оказался в Москве, пошел бы на Болотную?

– Пошел бы.

– Зачем?

– Чтобы услышать глас народа... Карамзин.

– Карамзин, – нервно повел шеей, перешел за свой стол – на заднем плане президентский штандарт, флаг России. – Мой тебе совет: займись историей, выдай нечто этакое.

– «Годунова» написал, займусь теперь Пугачевым.

– Что ж, похвально.

– Или про войну с Наполеоном.

– Это уже есть. Толстой написал.

– Который из них?

– Лев Николаевич. Граф. Прочитай, если, конечно, осилишь. Э-э, брат, да тебе много чего предстоит осилить. Но для начала обратись к архивам. Ты же в коллегии иностранных дел служил, вот к ее архиву тебя и припишу. Сколько тебе там платили?

– Пять тысяч.

– В год? – вскинул брови.

– В год.

– Рублей?

– Рублей.

– Будешь в долларах получать.

Пушкин хотел было спросить, что есть такое доллары, но сдержался, не желая показаться совсем уж темным.

– А как ты относишься к нашим международным делам?

– Я за сильную, процветающую Россию.

– Молодец! Читал твое «Клеветникам России». Все правильно сказал. Звучит и сегодня актуально. А нынешней молодежи ох как недостает патриотизма. Вот тебе первое задание или просьба: напиши записку о народном воспитании.

– О народном воспитании? Несколько неожиданно для меня.

– А ты попробуй. Мы посмотрим, поправим. А теперь пойдем, представлю тебя министрам, сенаторам, депутатам.

Прошли в Екатерининский зал, заполненный мундирами, фраками. Зал почтительно стих.

– Господа, – сделал предупреждающий жест, – я только что беседовал с умнейшим человеком России. Человек этот – Пушкин...

– Вы куда теперь? – спросил генерал Потапов Пушкина, провожая его до двери.

– А-а, куда-нибудь.

Лошади резво дернули. Стук копыт их еще долго отзывался в палатах и закоулках Кремля.

## На Басманной

«Конечно же на Басманную, к дядюшке».

Длинный, свежей охры дом с частыми окнами (явно послепожарный), вширь – ворота. В них и вкатилась на крутом вираже коляска Пушкина, растревожив сонных кур. Залаяла собака. Забегала дворня: «Экая коляска! Экий гость!» А гость, отряхиваясь, уже шел к крыльцу, где попыхивал трубкой высокий, в зеленом камзоле и с седыми космами старик.

– Игнатий? Ты ли? – воскликнул Пушкин.

Старик опустил ступенькой ниже, продолжая попыхивать трубкой:

– Не признал, ваше благородие. Как доложить?

– Ничего докладывать не надо. Я сам. Эх, Игнатий! Забыл, как вместе ехали в Петербург: ты, дядюшка, его супружница и я.

– Сашка! – встрепенулся старик. – Сколько же лет минуло?

– Пятнадцать, Игнатий, пятнадцать.

Вбежал в переднюю, бросил на диван шляпу, шинель.

– Вот еще трость – пристрой куда-нибудь.

– Слушаюсь! Что же так тяжела?

– Так надо, Игнатий.

Большая, светлая зала («Неужто балы устраивает?»), гостиная – круглый столик, фортепьяно.

– Направо, барин, – суетился Игнатий. – В кабинет.

У окна с приспущенными шторами в высоком кресле сидел, точнее, полулежал Василий Львович. Услышав голоса, приподнял голову:

– Игнатий, кто там?

– Алексашка, ваше благородие.

– Сашка? – попытался подняться Василий Львович, но лишь махнул рукой. – Чертова подагра! Где же он?



*Василий Львович Пушкин*

– Я здесь, дядюшка! – Александр гибко наклонился, чмокнул его в потную щеку. – Да вы сидите.

– Нет, я встану. Игнатий, помоги.

Уже по-настоящему обнялись, расцеловались.

– Экий ты! Совсем не узнать. Возмужал, оброс. Постой, постой! Да ты как здесь? Сбежал? Отпустили?

– Свобода, дядюшка, свобода!

Василий Львович недоверчиво покосился на него:

– Ты сюда присядь, на стул, чтобы я лучше видел тебя. А я уж – обратно, в кресло. Возмужал, оброс...

– Я только сейчас из Кремля, – Пушкин порывисто поднялся, заходил по комнате. – С самим царем разговаривал.

Дядюшка продолжал с недоверием глядеть на него.

– Теперь могу жить, где захочу: в Москве, Петербурге, хоть за границей.

– Помилуван, значит. Ну слава богу! Да что ты маячишь, присядь. И больше не будешь эпиграммить и сочинять крамольные оды, – секунду помедлил, – и ухлестывать за губернаторскими женами?

Пушкин заулыбался:

– Не буду, дядюшка, не буду. Буду токмо гимны петь и ухлестывать за купеческими дочками.

Василий Львович съезжился: его-то жена, Анна Николаевна Ворожейкина, как раз была из купеческих. И не жена вовсе, а сожительница. После скандального развода с первой женой – московской чаровницей Капитолиной (якобы на почве прелюбодеяния; об этом вся Москва судачила) синод вменил ему пожизненное безбрачие. Так и живет вне брака с Аннушкой вот уже четверть века. Родила ему двоих сыновей.

– А ты все язвишь, Сверчок.

– Помилуйте, дядюшка! Вы мой парнасский отец!

– Ну-ну, – крикнул Василий Львович.

Александр поспешил сгладить промашку:

– Смотрю, на столе у вас бюст Державина.

Василий Львович словно не слышал.

– Портреты Карамзина, Дмитриева...

– Карамзина уже нет, – Василий Львович перекрестился, – царство ему небесное. Великий был человек. Ты, наверное, не ведаешь, но решающим голосом в заступничестве за тебя, когда хотели упечь тебя в Сибирь или на Соловки, был голос Карамзина.

– Как же, знаю, – и добавил почти весело, – просил хотя бы в течение двух лет не писать ничего противосудительного.

– Потому что поручился за тебя.

– Я и не писал.

– Как бы не так. Ты умудрился на самого Карамзина сочинить *«В его «Истории» изящность, простота...»*

– Это не мое, дядюшка, не мое. Приписываемое мне, – рассмеялся.

– Вот и верь тебе, – Василий Львович тяжело вздохнул. – Дважды в немилость попасть... И что тебе сказал новый царь?

– Сказал, что желает видеть Россию сильной и просвещенной. И освободил меня от цензуры.

– Что-что? – Василий Львович приложил ладонь к уху. – Извини, глуховат стал.

– Освободил от цензуры. Как в свое время Александр освободил Карамзина от цензуры.

– Эка хватил! Карамзин – гигант; государь Александр Павлович прислушивался к его мнению, доверял ему. И вообще они дружны были.

– А если и Николай Павлович захочет видеть своим другом поэта, писателя, то бишь меня?

– Болтун ты, Сашка!

– Отчего же? Сказал, что сам будет меня читать.

Василий Львович недоуменно взглянул на него:

– И маленькие стишки?

– Маленькие, наверное, нет. Вот попросил «Бориса» показать.

– Про «Бориса» я слышал. Драма в стихах.

– Еще какая драма, дядюшка! Как-нибудь почитаю вам. Вижу, у вас мой «Фонтан», «Пленник».

Василий Львович оживился:

– И первая песнь «Онегина». Вот слушай, тебе посвятил:

Руслан, Кавказский пленник твой,  
Фонтан, Цыганы и Евгений  
Прекрасных полны вдохновений!

Они всегда передо мной.  
И не для критики пустой.  
Я их твержу для наслажденья.

– Bravo, дядюшка! Что же вы не прислали их мне в Михайловское?

– Зачем? Вот услышал... Фу ты, господи, опять это «вот». Вот я вас!.. – Василий Львович улыбнулся, наверняка вспомнив шумные арзамасские посиделки, даже щеки зарумянились. – А я, Сашка, совсем развалился. Ни в оперу, ни в концерт. О, сколько бы я отдал за то, чтобы пройти по бульварам, полюбоваться шляпками московских модниц, насладиться шелестом их платьев.

– Ну дядюшка! Как там у вас?

Я милую имею  
И горесть все терплю,  
Но, ах, сказать не смею,  
Что я ее люблю!

– Помнишь, однако.

– Как же? Особенно «*Я милую имею...*»

– Ну ты проказник!

– Помилуйте, дядюшка, это ваше.

– Вот рассмешил! Игнатий! – позвал камердинера. – Распорядись, чтобы собирали на стол.

– Уже распорядился, ваше благородие.

– И переодень меня, – и, обращаясь к Александру. – Арзамасским гусем тебя попотчую.

«Рыхлый, тучный, – Пушкин с грустью глядел на дядюшку, – косопузый, как сказал о нем кто-то из его недругов, редкие седые волосы».

Да, это был уже не прежний Василий Львович: щеголь, завсегдатай балов и модных салонов, бойкий стихотворец.

Его крохотная поэма «Опасный сосед» буквально взорвала Москву и Петербург. Фривольная, нецензурная, она разошлась в сотнях и сотнях списках, принеся Василию Львовичу невероятную известность.

А уж каким вернулся из Парижа! В ажурных чулках, с кучей модных нарядов: фраки, шарфики, галстуки. И с рецептами французской кухни. И с томами западной литературы. Библиотека та, о чем Василий Львович, не переставал сокрушаться, сгорела в пожаре 12-го года. И дом, и мебель, и новая коляска...

– С кем видите, кто навещает?

– Все больше Иван Дмитриев. Ну, который определил тебя в лицей.

– И баснописец, и министр...

– И член Государственного совета. Правда, от дел уже отошел.

– И от басен. Зато вырастил Крылова.

– Князь Вяземский иногда заезжает, когда бывает в Москве. Еще князь Шаликов.

Пушкин знал и Шаликова и его наивный «Дамский журнал». Это он, Шаликов, напечатал послание Василию Львовичу по случаю смерти его сестры Анны Львовны: *«Брат лучший, лучшую утративший сестру! Я знаю: слез тобой струимых не сотру...»*

Василий Львович пристально взглянул на племянника, и тот, конечно же, понял, о чем пойдет речь.

– Признайся, Александр, это ты сочинил гнусную элегию на смерть Анны Львовны?

– Да нет же, дядюшка! Какой-то другой незаконник.

– Сашка, не крутись. Ты и Дельвиг. Я знаю. А покойница любила тебя.

– И дала на орехи сто рублей, когда провожала меня в Петербург, в лицей, которые вы у меня одолжили, да так и не вернули.



– Злопамятный ты, Сашка! – Василий Львович беспокойно качнулся в кресле. – Отец твой видел ту элегию, очень расстроился. И Надежда Осиповна... Мой тебе совет: примиришься с отцом.

– И вы туда же! – вспыхнул Александр. – Ни за что! Мало того, что он предал меня, согласившись шпионить за мной, отважил от меня сестру и брата, – сбавил тон. – Может, когда-нибудь...

– Ох-хо-хо, – вздохнул Василий Львович, – грехи наши тяжкие...

– Пушкин! Где Пушкин? – ворвался Соболевский – темно-зеленый мундир, белый камзол, белые штаны. – Я все знаю, все знаю. Дай-ка обниму тебя, Сашка.

«Он все такой же: пухленькое личико, живые с искоркой глаза».



*Старая Басманная, 36. Дом-музей В.Л. Пушкина*

Подошел к Василию Львовичу, обнял и его:

– Я прямо с бала у французского посланника Мормона по случаю коронации государя. Это рядом. Там весь свет. И от уха к уху: «Пушкин в Москве, Пушкин помилован», – перевел дыхание. – Надолго к нам?

– На месяц-два, а там, как получится.

«Э-э, брат, да ты порядком изменился, – в свою очередь

отметил про себя Соболевский. – Осунулся, резкие морщины на щеках. И эти дикие бакенбарды».

Пушкин взял Соболевского под руку:

– Сергей, у меня к тебе просьба. Дядюшка, извините, мы на минутку.

Перешли в гостиную:

– Сергей, я сразу к делу: Американец\* в Москве?

– Должен быть. Правда, давненько не видел его. Он ведь как? Вдруг появится и так же вдруг исчезает. Потом узнаем: опять кого-то грохнул.

– Мне нужна сатисфакция.

– Во как!

– Я вызвал Американца на дуэль, еще будучи в Кишиневе. Но оттуда как было его достать? Как с той же Псковщины. Теперь это стало возможным. Я напишу письмо, и ты завтра же ему вручишь.

– Хорошо. Но объясни суть дела.

– Он оклеветал меня. В двадцатом году генерал-губернатор Милорадович, ныне покойный... Царство ему небесное. Отважный был серб! Зачем Каховский стрелял в него? Да еще в спину. Так поступают только трусы. Никогда не пойму этих декабристов... Так вот Милорадовичу было велено произвести у меня обыск. Он, однако, не стал посылать жандармов, а приказал мне самому явиться к нему и принести стихи. Я, разумеется, явился. Но... с пустыми руками. Потому как накануне сжег все. «Где же ваши стихи?» – спросил Милорадович. «Они здесь, – показываю на свой лоб. – Хотите, прочитаю». Он расхохотался: «Валяйте!». Я битый час читал ему.

– И «Деревню», и «Вольность»?

---

\* Ф.И. Толстой – картежник, дуэлист, авантюрист. А прозвали его Американцем потому, что во время кругосветного путешествия был высажен Крузенштерном (за безобразное поведение: напоил корабельного священника и бороду его приклеил к палубе) на Алеутских островах, где тот и провел несколько лет.

– И «Послание к Чаадаеву». «Ну вот что, – сказал он, – ничего этого я не слышал. А наверх доложу, что крамольных стихов у тебя не обнаружено». Это ли не поступок! Американец же пустил слух, будто меня по приказу Милорадовича высекли в жандармском отделении. Ну не подлость?

– Я что-то слышал на этот счет. И будто не Толстой пустил слух, а кто-то другой.

– Он, он. Его стиль. Оттого и прошу тебя... И, ради бога, Василию Львовичу ни-ни.

– Понятное дело.

– Теперь пойдем. Наверняка Анна Николаевна уже подошла, дети. Дети... Он даже свою фамилию не может им дать. Воспитанники...

## У Соболевского

– Да тебя здесь все знают! – воскликнул Пушкин, проходя в гостиную. – Слушай, а почему площадь называется Собачья площадка?

– Черт его знает! В давние времена, говорят, здесь была царская псарня. Вообще, весь Арбат, судя по названиям его улиц и переулков – Поварская, Хлебный, Скатертный, Ножовый, – был царской обслугой.

– Ножовый? Слово какое-то тревожное: поножовщина?

– Да нет. Ножи затачивали.

– Успокоил, – и невольно улыбнулся, окидывая взглядом Соболевского: горчичного цвета панталоны, зеленый жилет – канарейка! Он и прежде отличался экстравагантностью, даже собирался вопреки всеобщему запрету отрастить бороду. «А ежели царь увидит? – спрашивали его. «Спрячусь в подворотню», – отшучивался он...

– Да ты проходи. Можешь вообще у меня остановиться.

И тут в гостиную, нетвердо перебирая лапами, вбежали щенки, палевые, с отвислыми ушами. Ткнулись мордашками в ботинки Соболевского, заковыляли к Пушкину.



*Сергей Соболевский*

– Какие славные! – взял на руки одного, другого. – И как зовут?

– Тим и Бим.

– Тимбим? В одно слово?

– Ну да. Так и окликаю их: Тимбим. Оба тут же бегут ко мне. Они же братья.

Пушкин поочередно потрепал их за уши:

– Я, если заведу собаку, назову ее Соколко.

– Соколко? Что-то славянское: Иванко, Янко...

– Не угадал. От слова сокол. Соколко – имя пса в одной из русских народных сказок. Мне ее Арина Родионовна рассказывала: сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Изложу как-нибудь в стихах.

– Отец твой, – Соболевский многозначительно хмыкнул, – знаю, тебе неприятны напоминания о нем...

– Неприятны.

– Пса своего, ирландского сеттера, назвал Руслан.

– Руслан? Зачем?  
– В честь героя твоей поэмы.  
Пушкин досадливо потер подбородок:  
– Глупость какая: называть пса человеческим именем, – опустил щенят. – Ну говори, что Американец?  
– Нет его дома.  
– Не лукавишь?  
– Вот тебе крест! В отъезде он.  
– И когда будет?  
– Неизвестно. Может, через полгода, год. А так подумать, Сашка, на кой ляд тебе дуэль? Из огня да в полымя?  
– Но оскорблена моя честь!  
– Стреляет Американец без промаха, знаешь.  
– Я тоже неплохо стреляю.  
– Слышал. Михайловский подвал весь прострелял.  
– Левушка протрепался. Понятно. Да, стрелял я каждый день. Чтобы глаз острее был и рука – крепче. Еще и палицу таскаю.  
– Да видел. И сколько же у тебя было дуэлей?  
– Немного. Ну и кресла! – Пушкин приподнялся. – Соболевский!  
Тот довольно усмехнулся:  
– Кресла-корытца. Писк моды!  
– Тут действительно запищишь. Это я узенький, а пышным дамам каково? – закинул ногу на ногу.  
– Для пышных дам у меня другие кресла.  
– Выкрутился! А вызывал – да, предостаточно. Горяч был. Чуть что не по мне – к барьеру. По натуре я дуэлист, зря что ли по фехтованию пятерку имел. Но обычно друзья-приятели дуэли расстраивали.  
– Но с Кюхлей стрелялся.  
– Вспомнил тоже! Стрелял он, я не стрелял. А в Кишиневе да, пришлось. В двух или в трех случаях промахнулся, как и мои обидчики. Тогда-то и решил тренировать руку. Был случай, когда от выстрела отказался. А он, прапорщик

генерального штаба Зубов – я уличил его в картежном шулерстве – выстрелил. Мимо. Другие дуэли, с полдесятка, наверное, не состоялись. С теми же Алексеевым, чиновником по особым поручениям при Инзове и полковником Федором Орловым. Конечно, я не прав был: пьяный забрался на бильярдный стол и помешал их игре. Но все обошлось. А с Алексеевым мы потом стали закадычными друзьями. Я даже перебрался к нему на житье. Жили шумно, весело, деля меж собой любвеобильных молдаванок.

– Тень Баркова\*.

– Читал? Написал я эту элегию еще в лицее. Да, в духе Баркова\*\*. Я думаю, что первые книги, которые выйдут в России без цензуры, это будет полное собрание сочинений Ивана Баркова.

– Не лучший вариант.

– Как сказать, – помолчал. – Сам-то стрелялся?

– Я человек мирный. Но и не смиренный.

– Неизвестный сочинитель всем известных эпиграмм, – Пушкин рассмеялся. – *«Идет обоз с Парнаса везет навоз Пегаса»*. Это на кого?

– На Сушкова.

– Не знаю такого.

– И ни к чему... Проносит как-то...

Пушкин наклонил голову и, казалось, не слушал его:

– Этот меня не убьет. Он черный. А мне еще в Петербурге немка-гадальщица нагадала смерть от белого человека. Бергись, сказала, белой лошади или белой головы. С тех пор к белой лошади не подойду. С предубеждением отношусь и к белоголовым. Мы тогда к ней вместе с Никитой Всеволожским заходили. Да ты его знаешь.

---

\* А.С. Пушкин. «Тень Баркова».

\*\* И.С. Барков, порнографический поэт, стихи которого никогда не печатались, но каждый уважающий себя дворянин хранил их в ящике своего стола.

– Знаю. И про ваш кружок «Зеленая лампа» знаю. Собирались-то вы как раз у Всеволожского.

– Пировали, куролесили... Господи! Как давно это было. Всеволожский, как и я, числился по коллегии иностранных дел – лучший из минутных друзей моей минутной молодости. Так вот, ему она нагадала скорое продвижение по службе, что так и вышло, женитьбу – женится он на любви-нице своего отца.

– Во так!

– И еще более скорый – выигрыш.

– Выиграл?

– У меня. Тысячу рублей. Расплатился я тетрадкой стихов. А что было делать? *Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать.* Год назад выкупил ее. За те же деньги. Теперь вот книжка.

– А ты суеверный.

– Еще и мистик. Скажи, царь Александр сколько прожил?

– С полтинник, наверное. Тебя это занимает?

– Уже не занимает. 48. Все просто. Сложи поделовательно цифру с цифрой: 1777 – год рождения, 1801 – восшествие на престол, 1825 – год смерти. Получится 48.

– Надо же? И как заметил?

– Случайно. И в приметы верю. Вот, – показал перстень на правой руке. – Воронцова подарила. И знаю: камень этот меня хранит. Когда собрался бежать из Михайловского, после кончины Александра, заяц мне дважды дорогу перебежал. А потом еще поп повстречался. И я возвратился. А окажись тогда в Петербурге... Точно был бы на Сенатской.

– Ты еще раньше хотел бежать.

Пушкин удивленно взглянул на него:

– Откуда знаешь?

– О господи, кто из наших не знал! Тем более что в общники призвал Левушку. Просил его прислать спички,

калоши... Ольге, сестре вашей, я тогда написал: «*Что помышляют ваши братья, в моей башке не мог собрать я*».

– Да мальчишество, как сказала моя тригорская соседка Осипова. Но знал бы ты, в каком состоянии я тогда находился. Предатель отец, ожесточившаяся мать. Бешенство скуки – вот что одолевало мною. Потому и решил бежать. Сначала в Дерпт под видом слуги Алексея Вульфа, сына все той же соседки-помещицы Осиповой. Он оформляет на себя заграничный паспорт, вписывает меня в подорожную и – в Париж. Там меня должен был ждать Чаадаев. Конечно, ничего из этого не вышло бы. Задержали бы меня у первой же заставы. Да и как в Париж без денег? Потом еще раз хотел бежать...

– Да-а, – многозначительно протянул Соболевский.

– А ты, гляжу, за новинками следишь, – Пушкин подошел к журнальному столику, – «Полярная звезда», «Сын Отечества», погодинская «Урания». «Урания» у меня есть. Вяземский прислал. В ней мои «Мадригал», «Соловей и кукушка», «К морю»... Поэтов все хвалят, а журналы кормят. Скажи Погодину мое спасибо!

– Сам и скажешь. Свидишься с ним. Кстати, он затевает новое издание.

– Какое же?

– Пока не знаю.

– Я все Вяземского подбиваю делать вместе журнал. С хорошей прозой и хорошими стихами, с умной критикой. Кстати, Вяземского все нет?

– Сказывают, в Ревеле. Или в своем родном Остафьево отсиживается.

– И пропускает коронационные празднества.

– Выходит, что так.

– Странно. Ведь должен быть, князь никак. Впрочем, надо знать Вяземского: ничего и никому он не должен и ничем никому не обязан.



– Вот! – Соболевский покопался в газетной стопке. – Парижская «Revue Encyclopédique». Некий Héreau называет тебя драгоценнейшей надеждой русского Парнаса.

Пушкин поморщился:

– Нечто подобное я уже слышал. Тот же Жуковский написал мне: уступаю тебе первенство на российском Парнасе.

– Вот видишь.

– Я думаю, это из желания утешить меня, ссылочного. Не надо меня жалеть!

– А тебя никто и не жалеет. Тоже еще придумал. Слушай дальше, о тебе же: «Соотечественники с гордостью могут противопоставить его отличнейшим поэтам других европейских народов».

– Противопоставить? Зачем противопоставить? Каждый поэт по-своему самобытен. Ну-ка дай, – пробежал заметку. – Ах подлец! Он, этот твой Héreau, оказывается, не доволен моим «Фонтаном»\*: «Главный недостаток поэмы в отсутствии переходов, что не раз сбивало с пути наше внимание и наше понимание». Вздор! Все вздор! О, как достали меня эти журналисты! – швырнул газету на столик. – Своих хватает, еще иноземные подвизываются.

– Нет уж, послушай.

– Хочешь разозлить меня?

– Напротив. «Journal Général de la littérature étrangère». Цитирую: «Любимые писатели на Руси: Карамзин – скончавшийся на днях, Державин, Крылов, Жуковский, Козлов...»

– Какой Козлов? Иван?

– Не знаю.

– Есть и другой Козлов. Тот вообще графоман. А Иван талантлив. Перевел «Вечерний звон» Томаса Мура. Переводчики – двигатели просвещения. А его поэма «Чернец»,

---

\* «Бахчисарайский фонтан».

прислал мне, вообще замечательная. Потерял зрение, к сожалению...

– Озеров, – продолжал Соболевский.

– Этот державенец.

– Грибоедов, Пушкин.

– Я в числе последних?

– По старшинству.

– Да, Грибоедов старше меня. Года на четыре. Мы с ним в один день принимали присягу в коллегии иностранных дел. Еще Горчаков с нами был. Грибоедова направили с русской миссией в Тегеран, князя Горчакова пригласил Несельроде, а обо мне как бы забыли.

– Зато ты великий поэт. О тебе вон вся Европа говорит.

– О Грибоедове тоже говорит. Ты его «Горе от ума» читал?

– В отрывках. В «Русской талии».

– А я «Горе уму», так поначалу называлась комедия, читал еще в рукописи. Вернее, Пущин читал, когда приезжал ко мне прошлой зимой в Михайловское. Он-то и привез рукопись. И три бутылки шампанского. Так вот, едва дошли мы до второй сцены – и до второй бутылки – является игумен Иона. Иван рукопись быстренько – на стол, я сверху – Евангелие. Угостили попа вином. Захмелевший, он уехал. Вопрос в другом. Как, откуда узнал он о приезде Пущина? Или за ним уже следили?

– Скорее всего. Так вот комедию Грибоедова в пух и прах разнес Михаил Дмитриев.

– Знаю такого: племянник Ивана Ивановича Дмитриева, министра-баснописца. Его ценю уже за то, что создал русскую басню и вырастил Крылова. Кстати, оба Иваны. А племянник его – выскочка. Он и на Вяземского напал за его приверженность к истинному романтизму.

– Гляди, и до тебя доберется.

– Мне не впервой отбиваться.

– Михайло этот пишет, что в комедии Грибоедова смешно не окружение Чацкого, а сам он, Чацкий, смешон. Я еще эпиграмму сочинил.

– Погоди...

Но Соболевского уже было не остановить:

Собрались школьники, и вскоре  
Михайло Дмитриев рецензию скропал,  
В которой ясно доказал,  
Что «Горе от ума» – не Мишенькино горе.

– Каково?

– Изрядно! Только прав он, твой Михайло, черт его подери! Чацкий действительно смешон. И фамилия чудная – польская, что ли? Да и сам Грибоедов из шляхтичей. Так вот, все, что говорит его Чацкий, да, умно. Но кому говорит? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Даже глупо. Что метать бисер перед Репетиловыми? Впрочем, как верно, заметил Вяземский, «Горе от ума» никакая не комедия, а трагедия. Трагедия, прежде всего, самого Чацкого. И личная – надо же было такую дуру полюбить? – и общественная: он, по сути, потерпел поражение.

– А я увидел в нем будущего декабриста.

– Декабристы тоже не слишком умными оказались, – отрезал Пушкин.

– Тогда ответь мне: чем твой Онегин лучше? Чацкий хотя бы изобличает, а Онегин? Сибарит, корчит из себя мученика света.

– Ты видел только первую главу, а готова уже и вторая, и третья, и четвертая.

– Так печатай. Хочешь, помогу тебе. У меня в комитете знакомый цензор – Снегирев. И книготорговец свой – Ширяев.

– Очень хорошо! На тебя только и рассчитываю.

– Все провернем быстренько, – помолчал. – А Грибоедов, похоже, уже ничего не пишет, – ехидно усмехнулся. – Да и комедию свою, видимо, писал с трудом: ладонь-то простреляна.

– Не знал.

– На дуэли. А все из-за Истоминой.

Пушкин озарился улыбкой:

– *«Блистательна, полувоздушна, смычку волшебному послушна...»*

– *«И быстрой ножкой ножку бьет...»* Да там у тебя пол-Петербурга: Каверин, Катенин, Чаадаев, даже нелюбимый тобой Шаховской. Меня только нет. В самом деле, почему бы тебе и меня не упомянуть?

– Упомяну, упомяну, – весело посмотрел на Соболевского. – Упомяну. И тебя, и Баратынского, и Наполеона. Наполеона уже упомянул, во второй главе: *«Мы все глядим в Наполеоны...»*. А Истомина, знаю, танцует в «Кавказском пленнике».

– Как же? Прима! На балете я не был, но, как утверждают знатоки, от твоей поэмы там почти ничего не осталось. Ни Кавказа, ни героя пленника. Дидло\* все по-своему сделал. Будешь в Петербурге, сам увидишь.

– Ай, Дидло! Мог бы поделиться гонораром. А в Петербург, Сергей, я пока не собираюсь. Не в силах примириться с отцом... Так что там о дуэли Грибоедова?

– Ну слушай. Поссорилась Истомина со своим возлюбленным штаб-ротмистром Шереметевым, и Грибоедов, дабы успокоить горемычную, увез ее «на чай» к своему другу Завадовскому. Там она пробыла двое суток. Узнав об этом, Шереметев вызвал Завадовского на дуэль.

– И правильно сделал. Только почему не Грибоедова?

– А черт его знает! И вообще странно: везет женщину на

---

\* Шарль Дидло – французский балетмейстер.

квартиру к другу, где и сам проживает. Это была четвертая дуэль.

– Знаю такую. Стреляются и секунданты.

– В данном случае Грибоедов и Якубович.

– Якубович? Который декабрист?

– Да. Больной на голову.

– В смысле?

– На Кавказе Якубович получил тяжелое ранение в голову, в Петербурге его прооперировали, да, видимо, не совсем удачно. На службе, тем не менее, оставили. Капитан. Вошел в Северное общество.

– У нас что ни капитан или прапорщик, то декабрист.

– По планам бунтовщиков Якубович с полком солдат должен был захватить Зимний и арестовать императорскую семью. Но наутро, протрезвев, струхнул и явился с повинной. А тогда, в 18-м, он был еще корнетом. Те двое, Шереметьев и Завадовский, стрелялись. Шереметьев был тяжело ранен и через сутки умер, а Завадовский бежал в Лондон. Дуэль их секундантов, Грибоедова и Якубовича, естественно, была отложена. Настырный Якубович все же достал Грибоедова, уже в Тифлисе. Там и прострелил ему ладонь. Тут я несколько передернул: левую ладонь. Так что перо Грибоедов держит твердо. И музицирует отменно. При этом, говорят, на не сгибающийся мизинец надевает наконечник. Типа твоего. Ему-то понятно, для чего: чтобы укрепить мизинец, а тебе зачем?

Пушкин рассмеялся:

– Все спрашивают. Отвечаю. С длинным ногтем сподручнее играть в карты. Я же суеверный. Хотя все равно проигрываю.

Соболевского Пушкин знал еще по Петербургу, где тот учился в Благородном пансионе вместе с его братом Львом.

Третьим в их компании был Павел Нащокин. Не утруждая себя науками, юные эпикурейцы жили громко, беспечно. К ним в пансион Пушкин приезжал довольно часто. К тому же там преподавал его лицейский товарищ Кюхельбекер – словесность.

Веселая троица вскоре распалась. Льва отчислили – за «бунт» против увольнения Кюхельбекера, «дурно влияющего на воспитанников» (Лев и еще несколько учащихся отказались слушать лекции его преемника, гасили свечи, побили надзирателя). Лев чуть ли не гордился таким происшествием и нисколько не сожалел об отлучении его от пансиона.

Нащокин сам ушел. Года четыре походил в гусарах и вышел отставку по «домашним обстоятельствам». Больше нигде и никогда не служил.

Соболевского тоже едва не отчислили за «нелюбовь к наукам», благо за него, по просьбе Пушкина, вступился Александр Тургенев, тогдашний директор департамента духовных дел и статс-секретарь Государственного совета. «Да скучно в этом пансионе, – продолжал ворчать Соболевский. – Я из книг больше наберусь».

Уже тогда у Соболевского Пушкин отметил ироничность, насмешливость по отношению к окружающим и даже сарказм. Для себя он решил, что это синдром незаконнорожденности: Соболевский был внебрачным сыном крупного помещика. Тот приписал его к вымершему шляхетскому роду Соболевских. Как все просто! Рос он в доме матери, в Москве. С отцом почти не виделся и, похоже, не переживал на сей счет, благо тот не скупился на его содержание...

«Но что с того, что у меня отец и мать? Отец скуп беспредельно. Бывало, на извозчика не допросишься. Когда же я оказался на юге, вообще голодом меня заморил. Правда,

один раз прислал тысячу рублей: мой же гонорар за «Руслана и Людмилу». Скупой рыцарь! Мать – холодная кровь. А еще Ганнибал...»

– Слушай дальше, – голос Соболевского. – Все-таки достану тебя. Здесь же, в «Journal Général de la littérature étrangère»: «Один московский книгопродавец заплатил ему, то бишь тебе, 3000 рублей за поэму «Бахчисарайский фонтан», маленький томик».

Пушкин тяжело задышал, ноздри раздулись:

– Это Фаддей Булгарин растрепал, сволочь нашей литературы. Человек исподтишка. Бестужев по неосторожности поделился с ним содержанием моего письма, где я написал, что в «Фонтане», по сути, перекладывал в стихи рассказ любимой женщины. Булгарин тут же тиснул мое откровение в своих «Литературных листках». Понятно, чтобы уколоть меня.

– Но и Бестужев хорош! – заметил Соболевский. – Знает же, что с Фаддеем нужно быть настороже.

– Вот именно! Как можно печатать партикулярные письма – мало ли что мне приходит в голову в дружеской переписке? Да и не дело: вывешивать напоказ мои простыни. Это разбой! – выхватил газету. – Что ты мне всю эту дрянь подсовываешь? Скажу тебе подобно тому, как сказал Ламартин\*, отвечая на вопрос, почему он пел. Так вот, я пел, как булочник печет, портной шьет, Козлов твой пишет, лекарь морит – за деньги, за деньги, за деньги. Таков я в наготе моего цинизма.

– Bravo! – воскликнул Соболевский. – Я тоже циник. Ценю исключительно деньги. Ладно уж, подслащу. Лондонская «The literary chronicle»: «Пушкин, несмотря на то, что еще очень молодой человек, считается одним из самых

---

\* Альфонс де Ламартин – французский поэт.

народных в числе живущих русских поэтов и уже приобрел немаловажную славу».

Пушкин широко улыбнулся:

– Это другое дело. Кто автор? Напишу ему. Один из самых народных... О, как не выносят эту самую народность наши шелкоперы!

– Я их тоже ненавижу, – взял Пушкина под руку. – Соловья баснями не кормят, пошли к столу. Заодно обсудим наши планы. Буду твоим гидом по Москве. Все кабаки обойдем.

Стол ломился от яств. Пушкин даже смутился:

– Описать бы сие с пристрастием, но – не по перу. Будет, появится на Руси сочинитель, который все эти гастрономические штучки опишет с любовью и изяществом.

Словно предвидел восхождение на литературном небосклоне смешливого малороссиянина и отчаянного гурмана Гоголя...

– Ну, Сашка, – поднял бокал Соболевский, – за тебя!

– И за тебя, Сергей! И за новую Москву!

– И за новую Москву. Здесь все уже знают о твоём приезде. Завтра едем в Большой театр, увидишь, как тебя будут приветствовать.

Звонко чокнулись, осушили, снова наполнили.

– Слушай, Сашка, я человек дотошный, – Соболевский хитро прищурился, – за что тебя выперли из Одессы?

– Ну вот, так и знал. Вы все здесь такие дотошные?

– Нет-нет, я один, только я один. И не швыряй вилку. Из-за Воронцовой?

Пушкин насупился:

– Как тебе сказать?

– Так и скажи. Говорят, родила от тебя. Ай да Пушкин!..



## Почтамт

«Ну, Соболевский! Совсем замотал меня: трактиры, вечеринки, балы. Никакого просвета. За неделю, что в Москве, ни строчки не написал. Даже письмеца. А друзья, знакомые наверняка волнуются: что я? как я? Сейчас же напишу, – достал чернильный прибор. – Кому? Конечно же, Осиповой в Тригорское». Писал быстро, как всегда на французском, поскольку давно для себя решил, что французский язык наиболее удобен для эпистолярного жанра – емкий, энергичный. В переводе:

*«Вот уже 8 дней, что я в Москве, и не имел еще времени написать вам, это доказывает вам, сударыня, насколько я занят...»* – слегка поморщился: дважды «vous» («вам»), но править не стал. *«Государь принял меня самым любезным образом».* Вот главная мысль! *«Москва шумна и занята празднествами до такой степени, что я уже устал от них и начинаю вздыхать по Михайловскому, то есть по Тригорскому».* Улыбнулся: «Вздыхать – не вздыхаю, но пусть старушке будет приятно».

*«Сегодня, 15-го сент. у нас большой народный праздник; версты на три расставлено столов на Девичьем поле; пироги заготовлены саженьями, как дрова; так как пироги эти испечены уже несколько недель назад, то будет трудно их съесть и переварить их, но у почтенной публики будут фонтаны вина, чтобы их смочить; вот — злоба дня».* Злоба дня – хорошо! Повертел пером. *«Завтра бал у графини Орловой; огромный манеж превращен в зал; она взяла напрокат бронзы на 40000 рублей и пригласила тысячу человек...»* И быстро закончил: *«Простите нескладичу моего письма, — оно в точности отражает вам нескладичу моего теперешнего образа жизни... Pouchkine. Moscou. 15 Sept».*

Большой народный праздник – многотысячная толпа, очумев от винных фонтанов, а более от дармовщины, все сметет на своем пути, вплоть до мебели, – Пушкину не понравится. Скажет по-своему: «Маловато драки было».



*А.А. Орлова-Чесменская*

А вот на балу у графини Орловой (точнее Орловой-Чесменской, дочери Алексея Орлова-Чесменского\*, младшего брата Григория и Федора Орловых) в ее имении в Нескучном саду не побывает. Да и не пригласят: не по чину. Соберется там (бал-то придворный, пусть и в Москве) высший свет, по большей части петербургский, генералитет. И еще духовенство, в том числе архимандрит Юрьевский (Новгородской епархии) Фотий, духовник Орловой, у которого с ней, бездетной миллионершей, были, как шептались, не только духовные отношения.

Бал тот, а, по сути долгий обед, затмит своей роскошью все предыдущие коронационные балы и обеды. Орловой император вручит какой-то орден. И возникнет,

---

\* Приложение «Чесменский» к фамилии Алексея Орлова – знак отличия его в сражении в Чесменской бухте в ходе русско-турецкой войны (1768–1774).

поползет слух, что архимандрит Фотий повелел ей, отличающейся крайней религиозностью и послушанием, продать все, что останется после бала (бронзу, серебро), и деньги отдать в монастыри и церкви в искупление греха отца-царевубийцы\*. Что она и сделает. Пушкин настроит эпиграмму:

Благочестивая жена  
Душою богу предана,  
А грешною плотию –  
Архимандриту Фотию.

Продаст Анна Алексеевна Орлова и часть имения. А затем – и сам дворец. И не кому-нибудь, а государю Николаю Павловичу. За полтора миллиона рублей. Деньги! Их она опять-таки разнесет по церквам и монастырям. Потом и сама уйдет в монастырь. В тот самый, Юрьевский, где архимандрит Фотий...

В Нескучном саду еще и сегодня можно увидеть постройки тех давних времен: Чайный домик, Ваннный домик с изящным куполом, Летний домик, где снимается телеигра «Что? Где? Когда?», ротонда, грот...

Сложил лист вдоль, поперек, жирно написал: «*Опочка, село Тригорское для Осиповой П.А.*». Запечатал письмо перстнем-печаткой (перстнем-талисманом) и прямо в халате сбежал вниз, к метрдотелю:

– Доставь-ка, любезный, на почтамт. Хотя погоди, – придержал письмо в руке, – сам отвезу. Это где, на Мясницкой? Заодно узнаю, нет ли чего для меня.

---

\* Как и старшие братья, Алексей Орлов участвовал в отречении от власти и убийстве императора Петра III.

Письма было два: одно от Анны Вульф из Малинников (ее почерк). «Опять признания, упреки», – сунул письмо в карман. Другое – от Дельвига. «Вот это радость!»



Антон Дельвиг

*«Поздравляем тебя, милый Пушкин, – писал Дельвиг, – с переменной судьбы твоей. Я с братом твоим Львом развез прекрасную новость по всему Петербургу. Плетнев, Козлов, Гнедич, Оленин, Керн. Все прыгают и поздравляют тебя». – «И Керн? Прыгает?» – «Как счастлива семья твоя, ты не можешь представить. Особливо мать, она наверху блаженства. Я знаю твою благородную душу, ты не возмутишь их счастья упорным молчанием. Ты напишешь им. Они доказали тебе любовь свою». – «Доказали любовь свою? И каким же образом? Тем, что за все годы ни строчкой со мной не обмолвились?» – «Обними Баратынского и Вяземского, и подумайте, братцы, об моих «Цветах»\*... Пishi скорее к нам; уведоь, куда посылать к тебе деньги и письма и сколько ты останешься в Москве... Жена моя*

---

\* Альманах «Северные цветы», издававшийся А. Дельвигом и журналистом О. Сомовым в Санкт-Петербурге.

*тебе кланяется очень. Между тем позволь мне завладеть стихами к Анне Петровне.* – «Да что они прицепились к этим стихам? Ладно, пусть печатает!»

«Дельви́г, толстяк Дельви́г! Вовек благодарен тебе за то, что ты навестил меня, северного узника, в Михайловском. Правда, все дни провалялся на диване, поднимаясь лишь к вину и бильярду. А вот в Тригорском всем определенно понравился, особенно хозяйке, которой посвятил несколько стихотворений. Дельви́г – поэт от бога. Его «Шесть лет», по сути гимн лица, пели всем курсом... Надо бы отправить ему «Цыган» и отрывки из второй песни «Онегина»...

Распечатал письмо Анны:

*«Я словно переродилась, получив известие о доносе на вас». – «Донос? Так считают и в Михайловском и в Тригорском?» – «Творец небесный, что же с вами будет? Боже, как я была бы счастлива узнать, что вас простили, пусть даже ценою того, что никогда больше не увижу вас, хотя это условие страшит меня, как смерть...»*

«Ну вот еще, – свернул лист. – Что же так изводить себя? Маман, видимо, правильно сделала, когда еще прошлым летом увезла ее Малинники. Нет, все же дочитаю:

*«Какое счастье, если все кончится хорошо, в противном случае не знаю, что со мной станется».*

– Фу ты, господи! На Арбат, к Нащокину!

## **Нащокинский домик**

– Ну, Нащокин, показывай свой домик. Кстати, почему нащокинский?

– Потому что я его автор и создатель. А начал еще в Петербурге. Как понимаешь, это копия не моего дома, у меня такого нет и, наверное, никогда не будет. Это типичное городское дворянское жилье... Да ты проходи, проходи. Из-

вини, кругом не убрано. До утра кутили: артисты, цыгане, отставные гусары, студенты. Некоторые, кажется, и сейчас где-то здесь.

– А мне говорили, что ты до утра торчишь в Английском клубе.

– Торчу. И, знаешь, иногда выигрываю.

– Но чаще проигрываешь?



*Павел Нацюкин*

– Ну как повезет. Ты ведь тоже проигрываешь. Отведу тебя в Английский клуб, научу играть в вист. Только не связывайся с Американцем. Убьет, зараза! Представляешь, садится за стол и рядом кладет пистолет. И мечет чистый баламур\*. Ну вот, смотри, какая прелесть!

Это был макет городского дворянского дома – огромный, два на два с половиной метра, с раздвижными стеклами. За стеклами – комнаты, перегородки, миниатюрные ломберные столики со стульями, обеденный стол на шестьдесят персон, скатерти, салфетки, фарфоровая и хрустальная посуда, едва различимые столовые приборы. Всего около 600

---

\* Шулерский метод ведения карточной игры.

предметов. Заказывал их Нащокин лучшим мастерам Петербурга, Вены, Парижа, Лондона...

– Забавно, забавно, – восхищался Пушкин.

– Есть даже пианино, вон, в углу, видишь?

– Вижу. На нем разве что пауку играть.

– Какие пауки? – не понял шутки Нащокин. – А хочешь, я и твою комнатку оборудую: диван, конторка...

– Конторку не надо. Я обычно лежа пишу. А вот большой стол пусть будет – для рукописей, книг, журналов. И большое кресло. Вольтеровское. Давно о таком мечтаю. И водрузи на него меня.

– Сделаем-с

– Слушай, Войнич, а зачем тебе все это?

– Как зачем? Чтобы удивлять друзей. Ты же удивляешься. Это же произведение искусства! В конечном счете, если уж совсем окажусь в безденежье, выставлю на продажу.

– Это другое дело. Ты про Американца начал разговор. Его действительно нет Москве?

– Не вижу, не вижу... Так вот, в ходе игры он вдруг заявляет мне, что я должен ему двадцать тысяч, и за грудки меня. И я его за грудки. «Какой долг? Что за вранье?!» Растащили нас. Главное – не бояться его. Да, буян, да, дуэлянт. Правда, в последнее время, говорят, присмирел. Человек он, как все мы, тем более картежники, суеверный, я вон ношу кольцо с бирюзой против насильственной смерти. Хочешь, и тебе такое же закажу?

– Я не против, закажи. Правда, один перстень у меня уже есть, сердоликовый. Так ты – про Американца.

– Сам ли он обратил внимание или кто-то другой заметил, но после каждой его жертвы, а убил он на дуэли одиннадцать человек, умирал его ребенок. Из двенадцати детей осталась одна дочь, младшенькая.

Пушкин глядел на него расширенными глазами:

– Станешь тут несуетерным.

– Мистика и вокруг портрета\* его сестры Марии – Лопухиной по мужу. Умерла она совсем юной. От чахотки. А красива была! Но в красоте ее, как сказывают, было что-то таинственное. Что, в общем-то, и удалось отразить Боровиковскому. И теперь, опять-таки по рассказам, всякую девицу, заглядевшуюся на портрет, ждет несчастье и даже смерть. По-моему, бред какой-то.

– Да, бред. Но Американец должен извиниться.

– Я в курсе. Извинится. Появится – и все уладим. А хочешь, познакомлю тебя с Щукиным? Талантливейший человек. Нет, лучше поедем к цыганам. Там у меня зазнобушка, Ольга Солдатова, кареокая певица. Вот возьму и женюсь на ней.

– Вы как сговорились! Дельви́г женился. И без того мало писал, сын лени вдохновенный, теперь вообще писать перестал. Представляешь, мы с Алексеем Вульфом, сыном моей соседки, на день его рождения подарили ему череп, череп Дельвига, в смысле дальнего его предка. Череп тот Алексей привез из Дерпта, да просто стащил из университетской лаборатории.

– Череп Дельвига... И как сие воспринял сам Дельви́г?

– Я еще элегию сочинил: *Прими сей череп, Дельви́г, он принадлежит тебе по праву. Тебе поведаю, барон, его готическую славу.*

Нащокин нахмурился:

– Лично я не хотел бы иметь череп Нащокина, пусть и в шутку.

– Видишь в этом что-то мистическое?\*

– Что-то неприятное.

– Может быть, может быть, – помолчал. – Баратынский собирается жениться.

---

\* Портрет Лопухиной кисти И.В. Боровиковского хранится в Государственной Третьяковской галерее.

\*\* А.А. Дельви́г умрет в 32 года – от тифа.



- Уже женился.
- На ком же?
- На дочери отставного генерал-майора Энгельгардта.
- Энгельгардтов много. У нас в лицее в последний год директорствовал Энгельгардт. Педагог! На выпуск каждому вручил чугунное кольцо. Как символ прочной дружбы. Так что все мы, первенцы-лицейсты – чугуны. Правда, свое кольцо я где-то посеял... Ну и что Баратынский? В Москве теперь?
- В Москве. Дом Энгельгардтов в Большом Чернышевском переулке\*.
- Найду. Ну, Баратынский! Поэт-пехотинец...
- Уже не пехотинец. В отставке.
- Рановато что-то.
- А зачем ему служить при таком-то женином приданном?
- Все-то ты знаешь... *«Кто в двадцать лет был франт иль хват, а в тридцать выгодно женат...»* Впрочем, Баратынскому еще далеко до тридцати. У него и отец генерал...
- А Ольга замечательная девушка, – продолжал Нащокин. – И поет как! Да ты услышишь, – секунду помедлил. – Ждет от меня ребенка.
- Ну, ребята! – Пушкин, хохоча, свалился на диван.
- Чего хохочешь? Сам-то не собираешься?
- Жениться? Нет, милый Войнич, пока не собираюсь. Женюсь я на сто тринадцатой.
- Нащокин с удивлением на него уставился.
- Шутка, – продолжал веселиться Пушкин, прикурил чубук. – И вообще брак холостит душу.
- Холостит душу, – в задумчивости повторил Нащокин. – Может, и не женюсь. Подумаю. А к цыганам все равно поедем. Но прежде зайдем в один бар, тут неподалеку, угощу тебя текилой. Небось, не пробовал.

---

\* Ныне Вознесенский переулок.

Бар небольшой, уютный, громкая музыка.

– Миша, привет! – по-свойски обратился Нащокин к бармену. – Две текилы!

– Айн момент, – с живостью откликнулся тот, шевельнув на затылке косичкой.

Пушкин ухмыльнулся: «Как у китайца». Быстрым взглядом окинул зал: яркие девицы, разухабистые парни.

– Саша, вот так: с солью, – показывал Нащокин. – Очень пикантно!

Пушкин улыбнулся:

– Пикантно... Оглянись, Войнич, какие девицы! Одна другой пикантнее – блондинка, брюнетка.

– Крашенные, – фыркнул Нащокин.

– Краше... крашенные. Сочетается. И глаза. Настолько выразительные!

– Макияж, – снова, как бы нехотя, отозвался Нащокин. – У них же ресницы наклеенные.

– Как это?

– Да так. Эх, Пушкин, чего только не вытворяют над собой женщины, дабы нас, мужиков, охмурить. Они даже грудь увеличивают.

– Ну да?

– Миша, – обратился к бармену, – еще по одной.

– Сию минуту.

– Это кто? – бесцеремонно толкнул Нащокина волосатый, уже изрядно подвыпивший парень. – Под Пушкина косит?

– Он и есть Пушкин.

– Да брось ты! Актеришко. Не успел переодеться после спектакля.

– Я же говорю тебе: Пушкин! – уже совсем громко сказал Нащокин.

– Из театра имени Пушкина, что рядом, – продолжал ерничать волосатый.

– Еще одно слово, – вскипел Нащокин, видя, как у Пушкина наливаются кровью глаза.

– И что?

– И что? – подключился к волосатому толстый, бритоголовый. – А пусть прочитает что-нибудь свеженькое, тогда и убедимся Пушкин он или не Пушкин.

– Я тебе щас прочитаю! – Нащокин соскользнул со стульчика и сходу врезал толстому. – Сашка, мотаем отсюда!

– Сюда, сюда, – заторопил их перепуганный бармен, – через другой ход.

На улице отдышались.

– А ты молодец, Войнич! Я в долгу перед тобой.

– Да какой молодец? Ты же сам, я видел, закипал яростью. Вот я первым и врезал, – помялся. – Вообще такое со мной случается. Это, наверное, от отца: тот однажды вlepил пощечину самому Суворову, отчитавшему его за опоздание в часть. Как-нибудь расскажу... А ты, небось, вызвал бы того типа на дуэль.

– Ну да. Но другого, волосатого.

– Какая дуэль, Пушкин? О чем ты? Сегодня вместо дуэли в морду дают. Вот пусть два-три дня походит с фингалом. А бармену спасибо: позволил нам смыться. А приехали бы менты...

Забрели в какой-то скверик.

– Войнич, а менты это кто?

– Как тебе сказать? Жандармы, в твоём понимании, – секунду помедлил, – и в моем. Ну что? В «Яр», к цыганам!

Ольга Солдатова действительно была хороша! Тоненькая, с огненными глазами. Пушкину она напомнила Земфиру – дочь цыганского барона (табор тогда остановился близ Кишинева).

Вольнолюбивое племя, с которым он давно мечтал подружиться, приняло его благодушно. Может, потому, что

сам был, как цыган: черный, порывистый. Приютил его барон в своем шатре, так что он мог часами любоваться Земфирой и даже двумя-тремя молдаво-цыганскими словами общаться с ней. Но тщетны были все его любезности. Земфира была холодна. Да и как было не понять? Сердце ее было отдано другому. К тому же отец-барон ни на минуту ни ее, ни его не упускал из виду. Грустно...

«Зато написал «Цыган», – Пушкин озорно улыбнулся.

...А на Ольге Солдатовой Нащокин так и не женится, хотя родит она ему двоих детей. Женится он на другой девушке, а если точнее – на троюродной своей племяннице, красавице брюнетке Верочке, а если еще точнее – на внебрачной дочери (от турчанки) своего дальнего родственника по другой, менее древней нащокинской ветви и фактически – бессребренице. И будет у них шестеро детей.

Жизнь сложится трудно. Службу как таковую Нащокин презирал, а родительское наследство промотал еще в ранней молодости, в Петербурге. Уповать придется лишь на карточные выигрыши. Десятки раз станет богачом и столько же раз разорится вчистую...

А что же Нащокинский домик? Его Павел Воинович Нащокин (а обошелся ему чудо-макет в 40 тысяч рублей) в конце концов, заложит, но так и не выкупит...

## **«Щасливый Вяземский»**

Узнав, что Вяземский в Москве, Пушкин тут же помчался к нему, на Грузины. Князя дома не оказалось.

- Где же он?
- Уехали-с.
- Куда?
- В бани-с.

– А княгиня?

– Княгиня дома-с!

– Так доложи, любезный: Александр Пушкин. Да поживее!

– Слушаюсь, – камердинер удалился.

А по лестнице уже неслись дети Вяземских:

– Пушкин, Пушкин приехал!

Следом за ними – гувернеры, гувернантки. В таком шумном окружении он и явился к Вере Федоровне.

– Александр! – подала ему обе руки.

Поцеловал одну, другую.

– Вы свободны. Боже, как я ждала этого часа!

– А я как ждал, сударыня. Чтобы увидеть вас.

– Довольно, довольно, – слегка отстранилась от него, – Петр Андреевич и без того подозревает меня в одесской увлеченности вами.

– Петр Андреевич слишком умный человек, чтобы позволить себе такое, – усмехнулся. – Тут, конечно, мой дядюшка, Василий Львович, подсуропил: взял и брякнул в торжественном мадригале ко мне: *«Ты будешь жить с княгиней прелестной»*.

– Фу, какая пошлость! Но забудем. Маша, Прасковья и ты, Павлуша, – обратилась к детям, – возвращайтесь в свои комнаты. Александр Сергеевич потом с вами поговорит. И вы, месье, и вы, мадам, – и уже к Пушкину. – Как же они обрадовались вам!

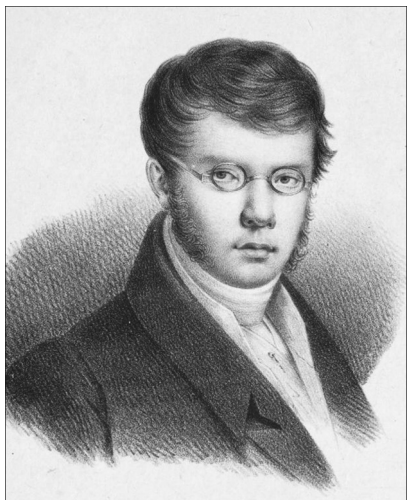
– Сам удивлен, – продолжал любоваться ею: вздернутый носик, большие голубые глаза.

– Потому что имя Пушкина живет в нашем доме. Дети то и дело спрашивают: «Где Пушкин? Почему он не приезжает?» Учат ваши стихи. Ну, рассказывайте, как вы, что вы?

– О, княгиня! Много всего! Но потом, потом. Я немедля к Петру Андреевичу. Он, рассказывают, в нумерных банях?

– В Лепехинских.

- Это где?  
– У Смоленского рынка. Но постойте. Я не поблагодарила вас за поясы.  
– Все для вас, княгиня, все для вас! – воскликнул он.  
– О, господи! Вы такой же расточительный, как в стихах...



*П.А. Вяземский*

«Вот незадача! Шесть лет не виделся с другом, чтобы отыскать его, наконец, в бане. Или лучше так: чтобы попариться с другом в бане, потребовалось добрых шесть лет». Это и выдал Вяземскому. Тот усмехнулся:

– Тебе впрок: очистишься от грешков, да и мне, как есть, пользительно.

– Свои грешки?

– Свои, родные, – секунду помедлил. – Впрочем, и не знаю, какие. Верочка – вообще ангел. И за что нас бог наказывает? Из пятерых сыновей четверых убрал. Последнего, Петрушу, похоронили нынешней весной. Тут поневоле замолчишь, – пригладил мокрые волосы. – Вот и к тебе не писал, – помолчал, – помилован, значит.

– Помилован.

– Что так и будет, я нисколько не сомневался. Ни к чему новоявленному царю неволить известного поэта, если и без того прослыл карателем. Тут надобен благородный жест.

– И этот жест – прекращение моей опалы?

– Разумеется.

– Я как-то об этом не подумал, – вздохнул. – Повешенные повешены, но каторга ста двадцати друзей, братьев ужасна. Наказание понесли семьями – братья Бестужевы, братья Муравьевы, братья Пузины, братья Кюхельбекеры...

– Братья Поджио, – продолжил Вяземский. – Семейный декабризм.

– Бобрищевы-Пушкины, – читал в «Петербургских ведомостях».

– Вот и подумай: зачем тут еще один Пушкин?

– Ты как всегда прав, Асмодей. А скажи, как Кюхля попал на Сенатскую?

– Как кур в ощип.

– Знаю, за год до этого Ермолов убрал его с Кавказа. Из-за дуэли, кажется.

– Не просто из-за дуэли, а из-за дуэли со своим племянником. Ермолов любил окружать себя свояками. После этого твой Кюхля какое-то время проживал в имении своей сестры. Потом его видели в Москве, пытался издавать какой-то журнал. Вернулся в Петербург, устроился у брата в семеновских казармах, где и сошелся с заговорщиками, и уже через две недели носился по Сенатской площади с пистолетом. Стрелял, ты знаешь, в Великого князя Михаила Павловича, младшего брата Николая Павловича. За что? Про что? Промахнулся. Сбежал в Польшу. Там его и достали.

– Бедный Кюхля!

– И заметь: тот же Великий князь, будучи членом Следственной комиссии, настоял на сохранении ему жизни: замене смертной казни пожизненной каторгой.

– Эка милость! А правда, что Николая Тургенева на корабле доставили в Петербург – для допроса?

– Нет, неправда. События на Сенатской застали его в Лондоне, поэтому осужден он был заочно. И в Россию решил не возвращаться.

– Я все думаю: будь Карамзин жив, смог бы он предотвратить казни как таковые? Ведь позорище!

– Возможно. Авторитет у него был огромнейший, – нахмурился. – Россия опоганена. Сама идея переворота на тех началах и при тех способах, которые были в виду, доказывает политическую несостоятельность и умственное легкомыслие этих мнимых преобразователей... Да что мы все о политике. Сейчас подойдет Филимон, он банщик от бога – так отхлещет тебя! Или хочешь сказать, что у тебя в Михайловском свой чудо-банщик? Кучер? Сам управляющий? – ухмыльнулся. – Дочь его? Кстати, как она, твоя Эда?\* Разрешилась, поди?

– Разрешилась. Сын. Павел.

– Еще один незаконнорожденный.

– И как банька? – встретила их Вера Федоровна очаровательной улыбкой.

– Банька – чудо! – воскликнул Пушкин.

– Вот-вот! – хмыкнул Вяземский. – А еще недоумевал: зачем, дескать, на шесть лет расстались, чтобы встретиться, наконец, в бане? Впрочем, Сашка, зачем тебе баня? Ты везде в бане. Как Василий Львович, твой дядюшка, потеет вековечно, так и от тебя идет испарина хороших стихов.

– Испарина хороших стихов... Неплохо.

---

\* Эдой, героиней одноименной поэмы Е. Баратынского, соблазненной и покинутой постояльцем гусаром, Вяземский, проводя параллель, называет дочь Михайловского управляющего Ольгу Калашникову, «деревенскую любовь» Пушкина.



– Используй, используй, – Петр Вяземский довольно улыбнулся.

– Вера Федоровна, – взмолился Пушкин: этот лентяй роняет строчки, не подозревая, что они – перлы.

– За ним такое водится, – перевела на мужа улыбочивый взгляд.

– А ты подхватывай, – продолжил Вяземский. – И вообще, чаще цитируй меня.

– Стараюсь, стараюсь...

– Но строчки мои к «Пленнику»\* снял.

– Ты знаешь почему.

– Знаю-знаю. Знаю, что обменялись едкими эпиграммами.

– Уж куда как едкими. Он обозвал меня Чушкиным.

Вяземский ухмыльнулся:

– Графу Толстому в сарказме не откажешь.

– Я не говорю, что он бездарь, но он – подлец. Как ты мог написать ему посвящение?

– Толстой по-своему оригинален: несколько лет жил с алеутами, проехал всю Сибирь, дважды был разжалован в солдаты.

– За дуэли.

– За дуэли. А посвящение мое – шуточное, по большей части гастрономическое. Федор Толстой ведь еще тот чревоугодник.

– О, дорогие мои, не ссорьтесь, – вступила в разговор Вера Федоровна. – Петр Андреевич! Александр Сергеевич!

– Душечка, а мы и не ссоримся, – поцеловал ее в щеку Вяземский. – А ты прекрасно выглядишь. Не по случаю ли гостя?

---

\* Речь идет о стихах П.А. Вяземского, посвященных Ф.И. Толстому «Американец и цыган...», из которых Пушкин хотел взять в качестве эпиграфа к «Кавказскому пленнику» строчки «Под бурей рока – твердый камень! В волненьи страсти – легкий лист!». После ссоры с Ф.И. Толстым отказался от своего намерения.

– Как ты догадался? – кокетливо поправила шляпку.  
– Княгиня, мы вовсе не ссоримся, – в свою очередь до-  
бавил Пушкин. – Мы так разговариваем.  
– Слава богу! – и зачем-то перекрестилась.

– И как тебе новый государь? – спросил Петр Вязем-  
ский, когда они уединились в его кабинете. Рыжий, как все  
Романовы?

– Да, рыжеватый... А у тебя хорошая библиотека, – оки-  
нул взглядом книжные шкафы. – У меня в Михайловском  
тоже достаточно набралось.

– Книги еще в Остафьево. Как-нибудь съездим. Там та-  
кая природа! Карамзин любил туда наезжать, он, может,  
знаешь, был женат на единокровной моей сестре, вне-  
брачной дочери отца моего Андрея Ивановича. В конце  
концов, Карамзин совсем перебрался в Остафьево и на  
добрые двенадцать лет засел за «Историю государства  
Российского». А когда умер отец – далеко не старым, в  
пятьдесят три года, Карамзин стал для меня как бы вто-  
рым отцом. И учителем, и наставником. Ввел меня в ли-  
тературную среду.

Вяземскому показалось, что Пушкин как-то приуныл:

– Хочешь, развеселю тебя? Теща моя, графиня Гагари-  
на Прасковья Юрьевна, мать Верочки – первая в России  
женщина, пролетевшая на воздушном шаре.

Пушкин натужно улыбнулся:

– Нет, не развеселил, – и вдруг громко рассмеялся. – Ты  
еще скажи, да уже говорил, как твой отец будущую мать  
твою, ирландку, выкрал у законного ее мужа и привез в  
Россию.

– Было дело, – рассмеялся уже и Вяземский.

– Ну, молодец! И, стало быть, ты наполовину ирландец?

– Разумеется.

Пушкин убрал смех:

– Все мы с примесью: Карамзин – с татарской, Жуковский – с турецкой кровью, я – с африканской, где-то на четверть. А сколько в российском дворянстве польского, немецкого, лифляндского! И пол-империи незаконнорожденных, – бросил взгляд на письменный стол: стопки бумаги, журналы, рукописи. – Пишешь?

– Пишу. Вот заканчиваю статью для Дельвига.

– Да, Дельвигу и его «Цветам» надо помочь. Я тоже кое-что подброшу. А стихи?

– Стихи – нет, очень редко. Разве что эпиграммы.

– В эпиграмме ты силен. Краткости у тебя учимся. Вообще эпиграммистов у нас – пруд пруди. Всяк норовит поупражняться в стихотворном остроумии – от студента до министра. Кто лучше, кто хуже. Наверняка девятнадцатый век войдет в историю русской литературы как век эпиграммы.

– Интересное наблюдение.

– Но у тебя и стихов полно. Издай книжку. Чего тебе стоит?

Вяземский усмехнулся:

– Не княжеское это дело... Так как тебе новый царь? Почему молчишь?

– Царь? – зачем-то переспросил Пушкин. – Вообще он произвел на меня хорошее впечатление. Болеет за Россию, настроен на реформы.

– Брат его тоже поначалу насчет реформ разглагольствовал. Я поверил ему. Даже подписал записку об освобождении крестьян. Он отклонил ее. Я, в свою очередь, отказался от камер-юнкерства.

– Вяземскому все можно, – вырвалось у Пушкина.

– Все? – вздернул и без того курносый нос. – Дело не в этом. Просто оппозиция у нас – бесплодное и пустое ремесло. Всякое политическое выступление, в том числе стихотворное, считаю не более чем донкишотством. Это я тебе как друг говорю.

– Ценю старшинство Вяземского, – развел руками Пушкин и ехидно добавил: – Который некогда сам баловался политическими стишками.

Вяземский взглянул на него поверх очков:

– Ты имеешь в виду «Петербург», «Негодование»? В них ничего противодержавного. Они – отзвук борьбы либеральных мнений.

– Эх, Вяземский! Помнишь, ты подарил мне свой портрет? Я написал тогда:

Судьба свои дары явить желала в нем,  
В счастливом баловне соединив ошибкой  
Богатство, знатный род – с возвышенным умом  
И простодушие с язвительной улыбкой.

– С возвышенным умом – это хорошо. А язвишь сейчас ты. Ладно, рассказывай о своем Михайловском. Как няня, жива-здоровая? Ты всегда с такой теплотой отзываешься о ней...

«Щасливый Вяземский. Потомок древнейшего княжеского рода – от Рюриковичей и Мономаха, единственный наследник знатного вельможи. Независим – откровенно презирает новоявленную знать и не желает ей служить. Вольнодумец – в своих суждениях ничуть не стесняется. И все ему сходит с рук. Как же? Родовитый! Мне бы такую независимость! Как там у Карамзина? *«Счастлив, кто независим, но как трудно быть счастливым, то есть независимым»*... А Вяземского и под Бородином судьба миловала: две лошади под ним пали, а на самом – ни царапины. Надо бы расспросить его про Бородино. Почему-то избегает этой темы, хотя удостоен ордена Святого Владимира... Счастлив в семье. Любим. Щасливый Вяземский! Завидую тебе!»

## Всех надул

Пушкин все же расспросил Вяземского о его Бородине. Вяземский рассмеялся:

– Теперь уже могу сказать: у меня это было комично.

Определили Вяземского в формирующийся конный полк. Но какой из него кавалерист? Ездок весьма посредственный, ружье вообще в руках не держал и саблей не владел. Близорук. И тут шурин, брат жены Веры Федоровны, свел его с генералом Милорадовичем. Тот предложил стать его адъютантом. Вяземский, конечно же, согласился и уже к вечеру следующего дня, как и просил Милорадович, был под Бородиным. Милорадович даже уступил ему для ночлега избу, где был расквартирован, сам же отправился в палатку.

Спал новоиспеченный ополченец Вяземский крепко. С рассветом – выстрел вестовой пушки. Вскочил и – бегом к палатке Милорадовича. Смотрит: все уже в сборе. А он – без лошади. Ее не успели пригнать ему из Москвы. Позор! Кто-то из адъютантов генерала предложил ему свою запасную лошадь. Но та вскоре свалилась с перебитой ногой. И снова кто-то из свиты предложил ему свою другую лошадь.

И тут новое приключение: Вяземского чуть не рассек шашкой наш же солдат, приняв его за француза, прорвавшегося на русские позиции. А всему виной было не совсем типичное воинское его одеяние: синий казацкий мундир и высокий кивер с султаном. Опять же кто-то из господ офицеров предложил ему фуражку. И вперед – с распоряжениями, донесениями. Где-то часа в четыре пополудни рвануло совсем близко. Лошадь Вяземского буквально разнесло. На нем же – ни царапины. А рядом с раздробленной ногой корчился генерал Бахметов. Вместе с подоспевшими сол-

датами Вяземский отнес его к санитарам. К вечеру наши войска отступили.

– Вот и вся моя Илиада, – заключил Вяземский.

– Что же тут комичного? Скорее трагикомичное.

– Возможно. Как видишь, в эпохе двенадцатого года я был незаметной и очень нижней песчинкой.

– И ни строчки про Бородино.

– Ни строчки. Разумеется, я мог бы не хуже других, справляясь с реляциями и описанием войны, войти в подробный рассказ о положении разных отрядов, движении их. Но я никогда и ни в чем не любил шарлатанить. Да, кажется, если б и захотел, не сумел бы. Во время сражения я был, как в темном или, пожалуй, воспламененном лесу. Довольно того, что Жуковский написал своего «Певца»\*.

– Хвала! Хвала!..

– Да, слог патетический, – помолчал в задумчивости. – Нет, все же напишу. Когда-нибудь. И назову поэму, знаешь как: «Поминки по Бородинской битве».

– Почему поминки? Хотя ты прав: Бородино – всегда поминки.

Вяземский прикрыл глаза:

– Людей буквально косило. Раненых еще убирали, мертвые же оставались на земле. И лошади, лошади... Потеряв седоков, носились они, как обезумевшие. До первого ядра, понятно. Потом их пристреливали. И еще французская речь. Как и на той, другой стороне. Чудовищно! Тот же Милорадович, серб, смущаясь, с диким акцентом восклицал перед господами офицерами: «А ля гер, ком а ля гер!»\*\*.

– Но французский у нас в крови. Я, например, не могу отказаться от французского письма. Яснее и короче. Да и

---

\* «Певец во стане русских воинов» – поэма В.А. Жуковского. 1812 г.

\*\* На войне как на войне (фр.).

кто мог представить, что появится некий Наполеон, безусловно, гений, который еще и на Россию двинется?

– Пришел тигром – бежал зайцем, – как сказал Карамзин.

– Бедный зайчик! – рассмеялся Пушкин. – Извини, у меня свои ассоциации. А скажи, с Жуковским встречался? Он ведь тоже был под Бородином.

– Нет, не довелось. Состоял он в резерве, чем уж там занимался, не знаю. Наверное, «Певца» своего писал. Поэму, как ты знаешь, заметили при дворе. А уж когда сочинил оду императору Александру – совсем приблизили. Вот, Пушкин, как надо делать карьеру!

Пушкин ухмыльнулся:

– Нет, это не мое. Хотя, я тебе не говорил, у меня тоже есть ода Александру. Еще в лицее сочинил. По просьбе директора, а к нему, в свою очередь, обратился начальник департамента просвещения. Не знаю, почему выбор пал на меня, у нас многие писали стихи. Словом, написал я «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году» – к церемонии его встречи в Царском Селе. «Тебе, наш храбрый царь, хвала, благодаренье!..» и прочая чушь. Те стихи, слава богу, до Александра не дошли: проследовал он мимо Царского Села напрямик – в Зимний. Вирши-то слабые, вялые. Да и было мне, извини, шестнадцать лет.

Вяземский сверкнул стеклышками очков:

– Как знать, как знать, услышь тогда их царь, может, не был бы так суров к лицейскому выпускнику Пушкину. Хотя вряд ли. «Ура, в Россию скачет кочующий деспот...» и оду «Вольность» он бы тебе все равно не простил.

– Лучше бы он вспомнил комичный эпизод, со мной происшедший. Как-то в полутемном лицейском переходе я, услышав шум женского платья и полагая, что это горничная фрейлины Волконской – она частенько мелькала в наших пенатах, волнуя наше воображение, – прижал приблизив-

шуюся фигуру к стене и набросился с поцелуями. В ответ – крик, визг. Оказалась, сама – фрейлина. Об этом тут же узнали императрица, император. Император потребовал от директора лица объяснения. И, выслушав его, поступил совершенно неожиданно: «Я беру на себя адвокатство за Пушкина, а старая дева, может быть, в восторге от ошибки молодого человека...» По-мужски, не правда ли? Вспомнил бы...

– Значит, не вспомнил. Но и ты теперь еще одну «Вольность» не напишешь. И еще одну «Деревню»: «Здесь барство дикое...»

Пушкин промолчал.

– Вот ты все на Воронцова нападаешь, – продолжал Вяземский, – изверг, обрек тебя на михайловскую ссылку. Да он душечка по сравнению с покойным уже Александром. Да, Воронцов был недоволен тобой, особенно в последнее время, ну извини, ухлестывал за женой. Раздражало и твое ничегонеделание, это ведь так, спорить не станешь. Просил Воронцов всего-навсего удалить тебя от него, переместить в другое место, хоть назад – к Инзову. Но Александр решил по-своему.

– Нд-а. И повод, знаешь какой?

– Да ерунда, – отмахнулся Вяземский, – афеизм\*.

– Как дело было? Перехватили мое одесское письмо к Кюхельбекеру, где я полусерьезно, полупушутя поведал ему, что общаюсь с неким доктором-англичанином, который дает мне уроки чистого афеизма. Всё! Этого было достаточно, чтобы обвинить меня в безбожии. Кстати, англичанин тот – домашний врач Воронцовых.

– Вот тебе, пожалуйста!

– Афеизм, аневризм, – Пушкин лукаво улыбнулся, – бабизм. У меня все в рифму!

Расхохотались.

---

\* Афеизм – атеизм.



Перешли в курительную комнату, облачились в атласные кафтаны.

– Потом сбросим. Верочка не переносит курительный запах, – уселись за столик. – Табак? Сигары?

– Пожалуй, сигары. О, «Монтекристо»! Мои любимые, – усмехнулся. – Говорят, Анна Керн потому еще сбежала от мужа-генерала, что он беспрестанно курил. Солдафон!

– Ты это к чему? – спросил Вяземский, набивая трубку.

– Да так, к слову.

– Никак не можешь забыть ее?

– Да забыл, забыл уже. А в Кишиневе я порезвился по полной. Город полудикий, сплошной бордель: гречанки, цыганки, молдаванки-давалки... И мстил, мстил.

– За что же?

– За все. За то, что никто меня не любит, даже мать родная, за то, что как щенка вышвырнули из Петербурга, унизили безденежьем и всякой сволочью. Первое время даже жалованье не платили, столовался у добряка Инзова, – улыбнулся, – он же и на гауптвахту меня упрятывал, коль дело доходило до дуэли с очередным мужем-ревнивцем. Еще и сапоги у меня отбирал. Чтобы я не сбежал. Чудак! Я бы и без сапог сбежал. Там одна цыганочка была, жена местного богача – Людмила. Все кишиневские сады и парки были наши. Все напевала:

Старый муж, грозный муж,  
Режь меня, жги меня;  
Я тверда – не боюсь  
Ни ножа, ни огня...

Ту цыганско-молдавскую песню я потом не раз слышал: «Арде-ма – фриде-ма...» Мне перевели на русский, и я написал стихи.

– А Виельгорский положил их на музыку.

– Получился очень даже неплохой романс\*. Его и поет Земфира в «Цыганах»: *«Я другого люблю, умираю, любя»*... А страшен был – я снова про Кишинев, – ты бы видел. Стриженный наголо, черный, худющий. Бр-р, как вспомню! Но и ты, – лукаво улыбнулся, – довольно покуролесил в ранней молодости.

– На то она и ранняя. Я готов был кипятить свою кровь, на каком бы то ни было огне. Кто бы остановил? И прокипятил на картах около полумиллиона. Потому и вынужден был продать одну из деревушек и записаться на службу. Прослужил, правда, недолго.

– Слышал. Еще в Одессе, – Пушкин ностальгически вздохнул. – Ах, Одесса!

– Про Одессу не надо. Я осведомлен. Из писем Веры Федоровны. Ты ведь весьма откровенно делился с нею своими шашнями.

– Это была любовь! – вспыхнул Пушкин.

– Возможно, возможно. Только с Собаньской зря спутался. Ты что не знал, что она любовница графа Витта?

– Знал. Это как раз и заводило.

– А того не ведал, что Витт, будучи наместником южных поселений, числился еще и по правительственному сыску, куда и Собаньскую привлек в качестве своего секретаря?

Пушкина передернуло.

– Скажу больше, – продолжал Вяземский, – зная о Южном обществе, Витт шпионил за Раевским, Орловым, Давыдовым и в нужный момент сдал их. Не исключаю, что и за тобой следил.

– Как за соперником.

– Не обольщайся.

---

\* Музыку на стихи А.С. Пушкина «Старый муж, грозный муж» в разное время написали более десятка композиторов: от А.А. Алябьева и А.Н. Верстовского до П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова. Наибольшее распространение получил вариант Верстовского.

– И черт бы с ним! Мне важно было отбить у него горячку Собаньскую. А какие – ты бы знал! – стихи ей посвятил! Да ну тебя, все испортил. Скажи еще, что и Воронцову зря ублудил.

– Нет, не скажу, – пыхнул трубкой. – Потому как ты тут же оказался в своем Михайловском и написал «Бориса». А то бы не дождались. Ты лучше вот о чем скажи: что с твоим аневризмом?

Пушкин поерзал в кресле:

– Нет у меня никакого аневризма.

– Ну, батенька! – отогнал дым. – Что же ты нам голову морочил? То у тебя аневризм сердца, смерть в себе чуть ли не десять лет носишь, то аневризм ноги. Мы с Жуковским ничего понять не могли.

– Да что тут понимать? Аневризм я придумал еще в Одессе, добиваясь своей отставки и обосновывая ее необходимостью лечения в Москве или Петербурге, или даже в дальних краях. Отставку мне не дали. Сослали в Михайловское. Там я использовал этот же повод. Но уже чтобы бежать за границу. Для начала в Ригу, к Мойеру. И уже с его помощью – дальше, в Европу. Такой у меня был план. А вы как-то не расчухали. Мойера мне в Псков посулили. Естественно, я ему отказал.

Вяземский нахмурился:

– Всех надул.

Пушкин прыснул:

– Прежде всего их величество государей императоров – одного, другого.

– Ох, Сверчок!

– Прости! Хочешь, на колени стану?

– Не паясничай, – поморщился Вяземский.

– И Жуковский пусть простит.

– Вот перед ним и станешь на колени как проштрафившийся школяр.

– И стану. Но он далеко, в Германии. А я ему отрывок из «Годунова» отправлю, он и простит меня.

– И не отрывок, а – целиком.

– Хорошо, целиком. Пусть порадует... покойник Жуковский, – и поспешил добавить. – Давно уже ничего не пишет.

Вяземский отложил трубку:

– Да, не пишет. Все больше переводами занимается. Его всегда тянуло к переводам. Как сам говорит, у него почти все или чужое, или по поводу чужого, и все, однако, его. Тут он совершенно прав: все – его. А потом, зачем ему писать? Есть Пушкин.

Пушкин почесал свой ганнибальский нос:

– Ну вот, и ты льстишь. Эх, друзья моей славы! Сколь же много вы навредили мне! Я тут не тебя имею в виду. Тебе как раз благодарен за издание моего «Фонтана», пока я сидел в Кишиневе, и в особенности за умное предисловие к нему, за хороший гонорар – три тысячи рублей. Деньги! Фаддей\* до сих пор слюну глотает. За статью о «Кавказском пленнике». Но другие, другие... Печатают мои стихи без моего ведома, перевирают строчки, распространяют поэмы в списках. Кто же после этого будет покупать их печатные? А Ольдекоп\*\*, мать его в рифму! Взял и напечатал моего «Пленника» на немецком языке, снабдив перевод русским оригиналом, тем самым лишив меня возможности выручить деньги за повторное издание поэмы. А это, я прикинул, три тысячи рублей. Ну ни плутня? Как ты считаешь, стоит мне по этому поводу обратиться к Бенкендорфу?

– Думаю, не стоит. Отец твой, ты знаешь, писал в петербургский цензорный комитет. Я его на это подвиг, – поспешил уточнить Вяземский, видя, что Пушкин насупился. –

---

\* Ф.В. Булгарин, писатель, журналист, литературный критик.

\*\* Е.И. Ольдекоп, издатель петербургского журнала «St-Peterburgische Zeitschrift».

И что ему ответили, тоже знаешь: комитет не входит в рассмотрение прав издателей и переводчиков. Такой же ответ получишь и от Бенкендорфа.

– Ольдекоп – воришка, и должен быть наказан, – нервно заходил по комнате.

– Каким же образом?

– Пусть компенсирует мне неполученную выгоду.

– Пустое все. К тому же это не отдельная книжка, а журнальная публикация.

– Неважно. Я не позволял и никогда не позволю печатать полный текст моих поэм, только – отрывки. Вот и Дельвиг печатает в «Северных цветах» отрывки из второй песни «Онегина». Книжка будет потом, – вернулся в кресло. – А Жуковскому лет сколько?

– Да за сорок уже.

– И все еще не женат.

– Жуковский однолюб. Как-то рассказывал мне, что, когда ему было лет двадцать-двадцать пять, влюбился он в свою ученицу, племянницу Машу Протасову, совсем еще юную. И она его полюбила. Ждал терпеливо ее взросления. Когда же попросил руки Маши, мать ее, сводная сестра Жуковского по бунинской линии, ты же знаешь, он незаконнорожденный сын тульского помещика Бунина.

– И плененной турчанки.

– Ну да. Усыновил его бунинский приживалка, бедный польский дворянин Жуковский. Дал свою фамилию и отчество. Так вот, мать Маши категорически отказала Жуковскому именно на том основании, что она, Маша, его племянница. Хотя родства там – седьмая вода на киселе. Жуковский даже заручился поддержкой архимандрита. Все было напрасно.

– Потому так тоскливы его баллады, элегии?

– Но надо знать Жуковского: он не только гробовых дел мастер, как мы иногда его называли, но и шутовских

дел оригинал. Ты появился в «Арзамасе» уже под занавес и не застал наших веселых, драчливых времен. Завоდიлой всегда был Жуковский. Видел бы ты его арзамасские протоколы. Это же кладезь филигранного юмора, остроумия.

Пушкин с удивлением взглянул на Вяземского:

– Протоколы те сохранились?

– Разумеется. У Жуковского.

– Непременно попрошу показать их. А что случилось с Машей? Ты не договорил.

– Машу спешно увезли в Ригу и там выдали замуж. О, это поистине драматическая история, достойная небольшой повести. Жуковский точно не напишет, а ты бы смог.

– Не знаю, не знаю. Впрочем, спасибо вам, друзья: сюжет за сюжетом дарите. Намедни Нащокин поведал интереснейшую историю о том, как сын разоренного отца отомстил его обидчику, соседу-генералу. Вкручу интригу: дочь генерала и тот юноша полюбят друг друга... Так что с Машей?

– Машу выдали замуж. И за кого, как ты думаешь?

Пушкин пожал плечами.

– За доктора Мойера.

– За Мойера?

– А прогос\* друга Жуковского. Так что представь себе душевное состояние Василия Андреевича: друг женится на его возлюбленной. Но смирился. Даже благословил их. А тут ты со своими неистовыми просьбами: вытащи меня из Михайловского, отправь в Ригу.

Пушкин понуро молчал.

«Ну Жуковский! Ни словом ни полсловом...»

– А Маша умерла, – приглушенно сказал Вяземский. – При родах. Царство ей небесное!

Тихо перекрестились.

---

\* А прогос (фр.) – между прочим.

## Мария

– Ты где пропадал? – спросил Соболевский Пушкина не без некоторого беспокойства.

– Да просто бродил по Москве. Ностальгия, знаешь.

– А я уже и в гостиницу посылал, и к Веневитиным, кстати, они вчера ждали нас, и к дядюшке твоему. Пропал Пушкин.

– К дядюшке ты зря посылал. Встревожил старика. У тебя не найдется лишнего халата? Мой у Тропинина\* остался.

– Да хоть два. И как продвигается работа?

– Говорит, сеанса еще два-три осталось. Ты же просил изобразить меня растрепанным, в халате.

– Да, по-домашнему. Попрошу, пусть мне копию сделает в миниатюре. Буду показывать тебя в Париже.

– Собираешься в Париж?

– Собираюсь. Давай месте рванем!

– Какой ты скорый, Соболевский! – Пушкин запахнул халат. – Боюсь, сейчас для меня это невозможно... А у Веневитиновых непременно побываем. Меня сын их Дмитрий заинтересовал: способный малый. Его разбор первой главы «Онегина» и умен, и тонок. Это единственная статья, которую я прочел с любовью и вниманием. Все остальное или брань, или переслащенная дичь. У нас, чувашей, нет критики, – помолчал. – А я уже не пропаду, Сережа.

– Это точно. Ты – великий! – воскликнул Соболевский.

Пушкин резко повернулся к нему:

– Вот так не надо. За все время, что в Москве, только и слышу: «великий», «гениальный». Вы что, льстите мне? Или, того хуже, жалеете как бывшего невольника?

– Помилуй, Александр Сергеевич!

---

\* В.А. Тропинин – русский художник-портретист (из крепостных).

– Или потому так рассыпаетесь передо мною, что новый царь, как бы это сказать, обласкал меня: дал свободу, отвел от цензуры? Как же после этого отзываться обо мне непочтительно?

– Сашка, не кипятись.

– Ладно, – ослабил шейный платок, хитро улыбнулся, – а я вчера по Тверской гулял.

– Один?

– Один.

– Представляю: от зевак отбоя не было.

– Я нарочно натянул боливар на самые глаза, чтобы не узнавали. Но сколько же красивых женщин!

– Это да.

– Наглые, полуголые.

Соболевский с недоумением взглянул на него.

– Это в наши времена, – продолжал Пушкин, – женщина была завернута в одежды, словно в кокон.

– В наши времена? Пушкин, ты откуда?

– Я же говорю тебе: с Тверской. Короткие – дух захватывает – юбки, платица. Ножки – навывлет. И, знаешь, довольно много стройненьких. Похоже, я сильно заблуждался, когда писал, что едва в России целой найдешь три пары стройных женских ног. Вон их сколько! Меня еще удивила витрина магазина: «Нижнее женское белье». Как будто может быть верхнее женское белье? Белье – оно есть нижнее.

– Или отсутствие такового, – ухмыльнулся Соболевский.

– Видел бы ты эти лоскутки – красные, синенькие, белые...

– Пушкин, ты словно из будущего. Откуда тебе знать, какое белье будут носить женщины через сто, двести лет?

– Потом пошел к своему памятнику.

– Пушкин, очнись! Я здесь.

– Должен сказать, памятник весьма удачный.

– И где же он?



- Напротив бывшего Страстного монастыря.
- Почему бывшего? Страстной – на месте. Может, еще и скульптора назовешь?
- Какой-то Опекушин. Высокий постамент, отчего фигура кажется достаточно высокой. Я-то не гигант. Судьба, как лавочник, меня обмерила. Спокойное, слегка задумчивое лицо. Поговорил с ним.
- С кем?
- С памятником.
- Брат, да ты бредишь, – воскликнул Соболевский...

В тот день Пушкину хотелось побыть одному. Изрядно утомили шумные застолья, говорливые любомудры. Где-то пополудни вышел из гостиницы, привычно бросил взгляд на Кремль, в который раз удивляясь краснокирпичному его цвету. Ведь всегда слыл белокаменным. И двинулся вверх по Тверской – мимо тяжелых каменных домов, расцвеченных витрин.

«Народу, как на Невском!»

У подземного перехода встретились два парня:

– Извините, огонька не найдется? – обратился один из них.

Пушкин в замешательстве остановился:

- Огонька?
  - В смысле зажигалки, – сказал второй. – В смысле спичек.
  - А-а спички, – Пушкин на всякий случай порылся в карманах сюртука, – извините, спичек у меня нет.
  - Пушкин, что ли? – спросил первый.
  - Да какой он Пушкин? – отозвался второй.
  - Ладно, пусть будет Пушкин, – сказал первый. – Даже интересно: один Пушкин здесь, другой там, на площади. Два Пушкина. Верке расскажу. Вот расхохочется!
- Спустился в подземный переход, быстро прошел его, а когда вышел, замер: перед ним – его двойник.



– Уж полтора века. Много чего насмотрелся. Мимо шли войска, парады, оркестры...

Пушкин ухмыльнулся:

– И все так же садятся на голову голуби?

– Садятся. Всю макушку истоптали.

– Так надо было цилиндр водрузить.

– Нет, цилиндр не надо. Слишком чопорно. Для всех ты – курчавый. Такой же памятник тебе установлен и в Кишиневе, только усеченный – бюст.

– В Кишиневе? А я был уверен, что там меня не жалуют.

– За твою строчку «*Проклятый город Кишинев!*»? Плохое быстро забывается, а хорошее помнится. Хорошее для молдаван уже то, что ты жил в их городе.

Обошел постамент: «*Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...*» «Это верно: слух прошел. Как и прошел о Батюшкове, Жуковском, Крылове, Грибоедове... Наверное,

– Ну, здравствуй, тезка!  
И словно почудилось:  
– Здорово, Алексашка!  
«Алексашка? Так меня редко кто называл».

– Какой-то ты понурый, смотришь исподлобья.

– Никакой я не понурый, просто задумчивый.

– А вообще, похож: курчавый, клочковатые бакенбарды. И как давно здесь?



памятники им тоже установлены... Насчет «не зарастет народная тропа?»

– Видимо, зарастает. Как ты считаешь, тезка?

– Нет, ты не прав: идут, идут сюда. Возлагают к постаменту цветы, я же понимаю: цветы – тебе. Здесь, на Пушкинке, как москвичи окрестили площадь, названную твоим именем, влюбленные назначают свидания. О, сколько здесь случилось объятий, поцелуев! Площадь любви! Она словно магнитом притягивает к себе. В твой день рождения здесь читают твои стихи. Свои стихи читают. Для поэтов место это – что Мекка. Всяк мечтает причаститься к тебе. Когда же погиб молодой поэт Есенин, был такой, гроб с его телом трижды пронесли вокруг памятника. Это о чем-то говорит? Так что жить тебе, Пушкин, и жить. Заодно – и мне...

– Брат, да ты бредишь! – возмутился Соболевский.

– А потом ко мне подошла девица.

– Вот с этого бы и начал.

...Подошла легко, запросто – курточка, юбочка:

– Я так и знала: это вы, Пушкин. Все куда-то торопятся...

Он приподнялся, попытался поцеловать ей руку, чувствуя, как все в нем замирает.

Присела рядом:

– Я – Мария, студентка... Все куда-то бегут, торопятся, словно и не замечают вас. Я сюда частенько прихожу.

– На свидание?

– И на свидание – тоже, – улыбнулась. – С вами.

Пушкин незаметно покосился на своего бронзового тезку, и, как ему показалось, тот тоже улыбнулся.

– Вы любите стихи? Мои стихи. «Я помню чудное мгновение!..»

– Нет, нет. Эти как раз не нравятся. А вот «Я вас любил, любовь еще, быть может...» – класс!

- «Онегина» читали?
- Ну да.
- Ну и?
- Честно? – поправила сумочку на коленях. – Местами нудно. Зевать хочется.
- Это я уже слышал. Не далее, как вчера. В Литературном институте – есть, оказывается, такой.

Студентов было немного, до двух десятков. Да профессуры человек десять. Глядели на него, как на некое ископаемое. Вручили цветы. Говорил он о путях развития русской словесности, как и попросили. Но студентов, пожалуй, это меньше всего интересовало, их занимал сам Пушкин. Буквально закидали его вопросами.

– Александр Сергеевич, вас в основном знают по «Евгению Онегину». Да вы и сами не раз говорили, что он – любимое ваше произведение.

– Готов и сейчас это подтвердить.

– Но Онегин – никакой не герой. Мелкий, серенький.

– Вы хотите сказать, не романтический. Да, это так. Ничего в Онегине возвышенного, героического. Но и роман в целом не романтический. Он – реальность: русский быт, русские характеры, живой русский язык. За что мне здорово досталось от приверженцев чистого романтизма, как в свою очередь – от классиков за мои южные романтические поэмы. Такова судьба поэта: быть непонятым...

– Татьяна выше Онегина, натура – цельная, чистая. Согласны?

– Согласен. *«Все тихо, просто было в ней...»* Но и Онегин мне дорог.

– Узнаете в нем себя?

Пушкин улыбнулся:

– Мы с ним друзья.

– Александр Сергеевич, вас с первых ваших шагов в по-

эзии назвали гениальным. С легкой руки, конечно, Жуковского. Других поэтов как и не было.

– Ну как же? Дельвиг, Баратынский, Языков, Бестужев, Одоевский... Читайте Языкова, очень талантливый поэт.

– Вы всегда требовали самых высоких гонораров. Это же нескромно.

– Поэзия – мое ремесло. И, значит, мой заработок.

– А правда, что вы вели тайный дневник?

– Тайный от кого? От жандармов?

– Сексуальный дневник.

– Слово-то какое, – в замешательстве почесал бакенбард.

– Ну эротический.

– Господи, чего только не приписывают мне. А сколько про меня анекдотов ходит!

– О-о-о! – пронеслось протяжное.

– А дневник – да, несколько раз пытался вести, в лицее, Кишиневе, Михайловском. Потом все сжег. Сами понимаете... Дневник вообще – хорошая вещь: развивает мышление, побуждает к самосозерцанию. Но и небезопасная. Если попадет в чужие руки...

– А правда, что Воронцова родила от вас дочь?

– А как бы вам хотелось?

– Чтобы – от вас.

– Вот и договорились.

Аудитория грохнула смехом.

– Александр Сергеевич, над чем вы сейчас работаете?

Пушкин вздохнул:

– Задумок много. Успеть бы...

– Александр Сергеевич, если бы вам представилась возможность побывать за границей, куда бы отправились в первую очередь? В Париж?

– В Париж, конечно. Мне близка французская культура, французская литература.

- Но французы к вам как-то не очень...
- Что вы имеете в виду?
- Они больше Дантесу симпатизируют. Ну который ухаживал за вашей женой.
- За моей женой? Позвольте, но я не женат. И жениться пока не собираюсь. Хотя что зарекаться? Москва – город невест...
- Что же вы приумолкли, Александр Сергеевич? – взглянула ему в глаза. – Встретились со студентами. И что?
- Что? Оказывается, первая песнь «Онегина» только им и понравилась. Один даже подсчитал: слово «*ножки*» повторяется четырнадцать раз. А мне как-то невдомек было.
- Это же здорово! – воскликнула Мария. – Четырнадцать пар женских ног. Какая же поэзия без эротики?
- Быстро взглянул на нее:
- Хорошая мысль. В остальном «Онегин», на их взгляд, старомоден, примитивен. И вообще в рейтинге произведений, рекомендуемых школьникам, как мне сказали, он на четвертом месте. Что на первом месте, не знаю. Что-то из позднего, других авторов.
- Да вы не расстраивайтесь, Александр Сергеевич. Нынешняя молодежь поэзией мало интересуется, считая ее чуть ли не анахронизмом. Только деньги на уме.
- Странно все это слышать. Вот и я не нужен.
- Нужен, нужен, – зашебетала она. – Книги ваши в каждом доме. К ним то и дело обращаются. Особенно старшее поколение. А скажите, кто-либо из студентов рискнул прочитать свое?
- Я как раз и попросил. Долго мялись и все поглядывали на худого, бледного паренька, наверное, самого одаренного. Тот порывисто поднялся и, размахивая руками, начал: *«Изгибы трав как будто выросли с травой вместе...»*. Фраза совершенно непонятная. Дальше что-то о слежавшейся воде, – как это? – в которой выпалась ночь... Я

выслушал и, не найдясь, что сказать, лишь неопределенно кивнул. Потом повернулся к отцам-преподавателям: те пожимали плечами.

– Видите, такая вот поэзия. Стихи-ребус, – самодовольно заключила она.

– *Изгибы трав как будто выросли...* Запомнилось, однако.

– Знаете что? – навела на него карие глаза. – Здесь неподалеку книжный магазин. Пройдемте, посмотрим. Там столько вашего. И двухтомники, и трехтомники, и подарочные издания. Можно я возьму вас под руку?

– Разумеется, – внутренне сжался, вышагивая рядом с ее длинными ногами.

– А это наш знаменитый гастроном, – указала на старинное с лепниной здание, – «Елисейский».

– Елисейский?

– По фамилии бывшего его владельца.

Пушкин окинул взглядом здание:

– Что-то знакомое. Вспомнил. Этот дом принадлежал княгине Зинаиде Волконской. Удивительная была женщина: поэтесса, певица, композитор. *«Царица муз и красоты»\**. Ее литературно-музыкальный салон славился на всю Москву. Здесь она пела для меня мою элегию «Погасло дневное светило». Здесь она устроила вечер по случаю отъезда в Сибирь к мужу Марии Раевской-Волконской, жены своего брата. И здесь же читал я послание декабристам: *«Во глубине сибирских руд...»*

– *«Храните гордое терпенье»*, – продолжила Мария.

– Знаете?

– Конечно. Еще в школе учила... *«Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье»...*

---

\* Строчка из стихотворения А.С. Пушкина «Среди рассеянной Москвы...», посвященного З.А. Волконской.

– Спасибо! И стихотворение «*Мой первый друг, мой друг бесценный...*».

– Посвященное Пушкину.

– Верно.

– А скажите, те стихи до декабристов дошли?

– Дошли. Их увезла с собой, отправляясь в Сибирь к мужу, Александра Муравьева.

Мария вздохнула:

– Во, женщины были!

– Пушкин! – оклик сзади.

Пушкин оглянулся.

– Александр Сергеевич!

Это были те два веселых парня, что обращались к нему за спичками.

– Вот возьмите, – один из них протянул ему блестящий металлический предмет.

– Что это?

– Зажигалка. Будете вспоминать нас, – с улыбкой покоисились на Марию.

– Спасибо! – Пушкин в замешательстве повертел незнакомый предмет.

– Да просто! – Мария взяла зажимаку, чиркнула, вспыхнул огонек.

– Забавно! – Пушкин покачал головой.

Парни ушли вперед, то и дело оглядываясь и хохоча: «Совсем не то мы ему подарили», – сказал первый. «Надо было упаковку Duxet, – добавил второй.

– Ну вот мы и пришли, – Мария указала на вывеску «Книги».

В магазине их словно ждали.

– Ах, Александр Сергеевич! – прибежала запыхавшаяся директриса – светлая завивка, строгий бирюзовый костюм. – Что же вы не предупредили? Мы бы устроили...



– Вот «устроили» не надо. Я ненадолго, просто посмотреть. Вижу: Державин, Жуковский, Крылов, Гоголь. Уже и Гоголь?

– Баратынский, Некрасов, – продолжала директриса.

– Некрасова не знаю.

– Певец русской доли. Кстати, продолжил ваш «Современник».

– Да? Молодец!

– А это ваша секция. Смотрите, сколько всего.

Пушкин любовно погладил один корешок, другой: «Евгений Онегин», «Борис Годунов», томики стихов, проза. Издано-то как! Шик! А это что? «Разговоры Пушкина». Кто и как мог подслушать их, записать? Странно. «Рисунки Пушкина». Собрали что ли все мои рисунки, разбросанные на полях черновых листов?

Повернулся к директрисе:

– Спасибо! Это век девятнадцатый, а что из двадцатого?

– Вы их, конечно, не знаете. Блок, Шолохов, Булгаков... Упакуем, доставим, куда надо.

– В «Европейскую». И непременно Есенина.

– Очень самобытный поэт. Его в России все любят. В «Европейскую»? Может, в «Националь»?

– В «Европейскую», что на Тверской, – прошли дальше. – Боже мой, сколько же книг! Счастливое поколение! А вот Вяземского не вижу. И Языкова нет.

– Языков был недавно.

– И дядюшки моего Василия Львовича нет.

– Нет, к сожалению, – усмехнулась директриса: «Опасный сосед» его опасен.

– Так уж? А за каламбур спасибо. Буду у дядюшки, процитирую ему.

– У дядюшки? – директриса открыла рот.

– Ну да, на Старой Басманной, – продолжал окидывать взглядом полки. – А кто из сегодняшних? О чем пишут?

– О чем? Убийства, мистика, любовь, вернее криминальная любовь. Любовные романы все больше женщины пишут. Женщина-писательница сегодня не редкость.

– Вообще-то литература – мужское дело. – Есть одна талантливая писательница: Жорж Занд, автор усадебных любовий. Но и та за мужским именем спряталась. И правильно сделала – мадам Дюпен... А стихи, стихи?

– Стихи? Пишут много и многие. Но ярких имен почему-то нет. Может, чайку, Александр Сергеевич? – директриса совсем раскраснелась.

– Покорнейше благодарю! Я еще зайду к вам. Мария, вы где?

– Я здесь, – приклеилась к нему, и быстро двинулись к выходу.

– Пушкин! Пушкин! – провожали их книжники.

– Скорее, – Мария сжала его руку. – Не то без пуговиц останетесь.

– А шляпа, шляпа? Ну да ладно. Извозчик!

– Такси!..

– Знаешь, о чем я порой думаю, – голос Соболевского.

– О чем же?

– Не будь все мы – я, Нащокин, Веневитинов, тот же Погодин и многие-многие другие дружны, знакомы с тобой, кто бы из нас сохранился в истории, в памяти потомков? А так, благодаря тебе сохранимся, останемся.

– Вон куда тебя занесло!

– Тот же дядя твой Василий Львович. Останется. Не потому что написал «Опасного соседа», а потому что он твоя родня. Ведь еще недавно как говорили? Александр Пушкин – племянник известного стихотворца Василия Пушкина. А теперь? Василий Пушкин – дядя знаменитого поэта Александра Пушкина. Останется. Да всякий, к кому ты прикоснулся, – пером, словом.

Пушкин белозубо улыбнулся:

– И к женщинам?

– К женщинам прежде всего. Та же Полторацкая Анна, жена какого-то генерала Керна, которому изменяла направо и налево.

Пушкин засмеялся:

– Вот к ней как раз не прикоснулся. Месяц гостила в Тригорском.

– Да ты говорил. Но как-то не верится.

– Вот те крест! – подошел к окну, – а клен-то, клен, гляди, как вспыхнул! Люблю осень. На душе чисто, спокойно, даже как-то звонко, золотисто-звонко. Представляю, какая красота сейчас в Михайловском, Тригорском. Рябины Сороти! Что ни говори, тянет меня туда. А упомянутая тобой мадам Керн, по глазам видел, готова была дать слабину, но настолько была зашугана своей тетушкой! Уж больно ревностно та наблюдала наши отношения; по ней лучше бы Керн переспала с Алексеем, сыном ее, чем со мной.

– Керн с Алексеем и теперь. Уже в Петербурге.

– И не только с ним. А с Вульфом, слышал, рассталась. Забрали его в действующую армию.

...Алексей Вульф – да, после окончания Дерптского университета, не найдя себя в статской службе, запишется в гусарский полк. Будет участвовать в Русско-турецкой войне (1828–1829 гг.), в Польской компании (1830 г.).

В отставку выйдет совсем молодым – в 30 лет в чине штаб-ротмистра и навсегда поселится в родном Тригорском. Понемногу будет заниматься хозяйственными делами, а в основном – писать любовные мемуары.

Жить будет бобылем. Так и состарится. И не сможет без слез глядеть на запустение в соседнем Михайловском, куда давно уже не ступала нога никого из наследников. И не ска-

занно обрадуется приезду сюда молодого барина Григория Пушкина, младшего сына Александра Сергеевича – подполковника в отставке.

Да и Григорий Пушкин потянется к Вульфу-соседу. Чтобы узнать больше о молодом отце: как разговаривал, как смеялся, в кого влюблялся? (Да во всех!) Старую избушку, фактически развалину, продаст под снос и на ее месте поставит добротный дом. Правда, дом тот вскоре сгорит. Поставит новый. Но это потом, потом...

– Вавилонская блудница! – воскликнул Соболевский. – А ты ей еще стихи посвятил.

– Прикоснусь, прикоснусь еще, достану. С божьей помощью. Это я в моих писаниях изящен и благовоспитан, но сердце мое совершенно вульгарно... Ладно, гони шампанское! А твой Погодин уже надоел мне. Чуть ли не каждый день является в гостиницу или сюда, к тебе.

– Никакой он не мой.

– Хочет делать журнал с моим участием, а к журналу не подпускает.

– Ему нужно твоё имя.

– Это я понимаю. И печатать меня будет, и платить хорошо. Но направленность журнала меня никак не устраивает. Немецкая философия, немецкий романтизм. Что есть хуже!

– Любомудры! – Соболевский многочисленно поднял большой палец. – Один Веневитинов чего стоит. На самом же деле – архивные юноши, к коим и сам принадлежу.

– Почему архивные?

– Потому что служим в московском архиве коллегии иностранных дел, чего-то там переписываем раз в неделю. Отстойник для бездельников. Братья Кириевские, Шевырев, Муханов – страстный твой поклонник, камер-юнкер Зубков.

– Фамилии эти мне ничего не говорят.

– Понимаю. Но я о Зубкове. Пробыл он у нас недолго, ушел к Пушину, в гражданский суд. Вот с кем тебе надо встретиться, с Зубковым. Он ведь до последнего с Иваном общался. Кстати, – Соболевский многозначительно взглянул на Пушкина, – Зубков тоже был арестован, и пару недель отсидел в Петропавловке.

– За что?

– За то, что общался с Пушиным.

– О господи! – Пушкин отложил сигару. – Что же получается, всех, кто общался с Пушиным, – в кутузку? Пушин – мой лицейский друг. Ко мне, ссыльному, он приезжал в Михайловское. Стало быть, и меня – туда же?

– Видишь, бог миловал.

– Так едем к нему, Зубкову! – Пушкин поднялся.

– Сашка, не гони! Сейчас подойдут Веневитинов, Чаадаев, Мицкевич.

– Мицкевич? Слышал о таком. Мы разминулись с ним: я – из Одессы, он – в Одессу.

– Вот и познакомишься. А к Зубкову – потом. Сегодня слушаем твоего «Годунова».

Из гостиной донеслись голоса.

– Что там? – спросил Соболевский подошедшего камердинера.

– Господину Пушкину просили передать.

– Что это?

– Шляпа, моя шляпа! – бросился к камердинеру Пушкин. – Нашлась! Ура-а!

Соболевский вскинул брови:

– Ты где вчера был, Пушкин?

– Был, был...

## Плохой Качони

– А здесь были винные склады, – показал Соболевский на кирпичное двухэтажное здание. Французы ограбили. Участвовал в сем действии и Стендаль, офицер-интендант, тогда еще малоизвестный литератор.

– Стендаль – это псевдоним. Настоящее имя твоего писателя-интенданта Анри-Мари Бейль. Читал его «Прогулки по Риму». Проба пера.

Миновали Кремль.

– Красавец! – не сдержался Пушкин. – Уму непостижимо, как могли хозяйничать в нем вражеские поляки, французы?

– А речки Неглинки уже нет, – продолжал Соболевский, – убрали в трубу, а сверху разбили сквер. Александровским назвали.

– Понятно.

– А слева, гляди: манеж или – не выговорить – Эзерциргаус. Дом для муштры. В нем может разместиться целый пехотный полк.

– Александровский, – засмеялся Пушкин. – Хотя нет, уже николаевский.

– И здесь же московские купцы устроили пышный обед в честь нового царя. Дальше – университет. Не хотел бы посетить?

– Зачем?

– Встретиться с преподавателями, студентами.

Пушкин надул губы:

– Не хочу. Там Каченовский. А он – мой враг. И мой, и покойного уже Карамзина, и Вяземского – всех нас, арзамасцев.

– Чем же так насолил вам?

– Он, этот Качони, сын грека-винооторговца, подверг сомнению достоверность сведений в «Повести временных

лет» и «Русской правде» Ярослава Мудрого, а значит – и ценность самой «Истории» Карамзина, ведь опирался он именно на эти первоисточники. Я тут же настроил на Качони эпиграмму. Дай-ка вспомню:

...Бесчестью твоему нужна ли перемена?  
Наш Тацит на тебя захочет ли взглянуть?  
Уймись – и прежним ты стихом доволен будь,  
Плюгавый выползок из гузна Дефонтена.

Соболевский расхохотался:

– Из гузна Дефонтена... Дефонтен это кто?

– Аббат. Враг Вольтера.

– У вас, писателей, сплошь враги.

– В литературе всегда так. А Тацит\*, как понимаешь, Карамзин.

– Это я понял. Ловко, ловко!

– Но, но... И «гузно», и «Дефонтена», и всю строчку я взял у Ивана Дмитриева, баснописца. Так что тут не моя заслуга. Почтенный Иван Иванович прежде моего пригвоздил этого Качони. Однако ж тот продолжает профессорствовать и утверждать, что Русь – это хазары. Благо свой журнал под руками – «Вестник Европы». Ежемесячное вранье! Посему еще эпиграмма:

Клеветник без дарованья,  
Палок ищет он чутьем,  
А дневного пропитанья  
Ежемесячным враньем.

Никогда не буду печататься в «Вестнике Европы». Хотя, по правде, самое первое мое стихотворение, еще лицейское

---

\* Тацит – древнеримский историк.

«К другу стихотворцу» было напечатано именно в «Вестнике». Подписал я его весьма замысловато: Александр Н.к.ш.п.

– И в чем разгадка?

– Читай справа-налево, получается Пушкин.

– Спрятался.

– Почему-то не хотелось раскрываться. Совсем юный был: пятнадцать лет. И Дельвиг там напечатался – еще раньше моего: ода в подражание Горацио. Он вообще подписался псевдонимом. Таковы были наши первые публикации. Не удержусь, процитирую:

Пусть судит обо мне, как хочет, белый свет,  
Сердись, кричи, бранись, – а я поэт...

– Пророчески!

– Еще и не такое сказал, уже позже:

Великим быть желаю,  
Люблю России честь.  
Я много обещаю –  
Исполню ли? Бог весть!

– Исполнишь, исполнишь.

– Бог весть!.. А Качони еще и на моего «Руслана»\* напал, – злился Пушкин. – Нет, не поеду. И вообще там засилье геттингенцев. Зато побывал в Литературном институте.

– Есть такой? – удивился Соболевский. – Не слышал.

– А представь себе, что есть. Только зачем он нужен? Поэтами рождаются, а не становятся.

– Но и тебе лицей пришелся как нельзя кстати. Ведь учили вас не только счету и фехтованию, но и ямба и хорям. И, насколько знаю, многие из вас писали стихи.

---

\* Поэма «Руслан и Людмила».



- Дельвиг, Кюхельбекер, Илличевский...
- И первым ты еще не был.
- Ох, Соболевский! – Пушкин сверкнул глазами. – Так вот, прочитал я лекцию.
- Кому?
- Тем самым студентам.
- Пушкин, ты опять – в мистику? Ну валяй!
- По истории русской литературы, русской критики – как и просили. Слушали с интересом. Но больше задавали вопросы: колючие, интимные – разные. «Онегин», видите ли, им не понравился: дворянский, примитивный. Что бы понимали?
- Нигилисты! Видишь, подыгрываю тебе.
- А вот профессура приняла меня восторженно.
- Понятно, ты для них мэтр. Устроили банкет.
- Не без этого. Но я ненадолго задержался. Нужно было к Тропинину. Сам же заказал ему мой портрет.
- И уменьшенную копию – себе. Но дальше, дальше? Продолжай!
- Дальше? Хвальбы, комплименты. «Вы наше – всё!» Что всё? И еще сказали, что выдвинули меня на премию имени Державина.
- Это хорошо!
- Я так и сказал: согласен. Конечно, спросил, сколько это. Сто тысяч. Вдвойне хорошо, вдвойне согласен. Деньги, сам понимаешь, ох как мне нужны – для обустройства своего бытия хотя бы. И еще предложили вступить в Союз писателей России. Что это за Союз, зачем он нужен?
- Вот именно, – поддакнул Соболевский.
- И знаешь, где находится его штаб-квартира? В бывшем шефском доме кавалергардского полка, что напротив Хамовнических казарм. В том самом, где в свое время собирались передовые офицеры, будущие декабристы.
- Теперь собираются передовые писатели?

– Наверное. И пообещали выдать мне членский билет за номером один – навечно. Когда же узнал, что в Союзе том около шести тысяч человек...

– Шесть тысяч! – изумился Соболевский.

– Шесть тысяч.

– Как их всех прочитать?

– Да никак. Правда, и в наше время...

– В какое наше время, Пушкин?

– В наше, в наше. Когда чуть ли не каждый второй дворянин баловался стихами, даже – губернаторы. Что же теперь, всех их признать литераторами? Я знал один литературный союз – «Арзамас». И довольно с меня.

– Вступи лучше в Английский клуб. Нащокин и протекцию составит.

– Пожалуй. Но и это еще не все: пообещали устроить большой мой вечер в каком-нибудь дворце.

– Это то, что надо! А то по разным домам читаешь.

– За что и получил втык от Бенкендорфа. Его, как понял, задело, что «Годунова» своего я представил общественности раньше, чем Николай ознакомился с ним. Что же так долго знакомится?..

– Да-а, брат, – вздохнул Соболевский. – А творческий вечер – хорошо! Представляю: в зале твои поклонники, много молодежи. Тебя приветствуют министры, сенаторы, уже знакомая тебе профессура. Ты читаешь лучшие свои стихи, отрывки из поэм, «Онегина». Тебе преподносят цветы. Звучат романсы на твои слова. Еще и гонорар выпишут, – не унимался Соболевский.

Рассмеялись:

– Ну мы фантазеры!

Пушкин вдруг изменился в лице:

– Все грустно, Сергей, очень грустно. Я тебе не говорил? Назавтра меня вызывает к себе московский обер-полицеймейстер. По поводу «Андрея Шенья». Точнее части строк

из него, исключенных цензурой. Кто-то распространил их в списках за моим именем. Все грустно, Сергей. Где мы?

– На Моховой. Как раз напротив университета.

– Нет, не пойдем. В другой раз. Через годик-два. Вот выйдет «Годунов»...

Зря заупрямился. А то бы заодно, ностальгируя по лицейским коридорам, заглянул в университетский пансион – он рядом – и столкнулся бы с горящими глазами бледного подростка – Миши Лермонтова...

## Малая Никитская, 12

Мокрая улица, мокрые дома, мокрые извозчики на облучках. Осень.

«В Михайловском она еще более мокрая и еще более тоскливая – расплывшееся подворье, ругань конюхов. А в домике тепло. Арина Родионовна, закутавшись в платок (и согревшись рюмочкой), склонилась над спицами. Как она там?»

Подбежал к столу, схватил перо:

Подруга дней моих суровых,  
Голубка дряхлая моя!  
Одна в глуши лесов сосновых  
Давно, давно ты ждешь меня.  
Ты под окном своей светлицы  
Горюешь, будто на часах,  
И медлят поминутно спицы  
В твоих наморщенных руках.  
Глядишь в забытые вороты,  
На черный отдаленный путь;  
Тоска, предчувствия, заботы

Теснят твою всечасно грудь.  
То чудится тебе...

В дверь постучали. Пушкин, досадливо поморщился:  
«Ну вот, прервали стихи».

– Господин Пушкин, фельдъегерь с письмом.

«Без фельдъегерей у нас ничего не делается».

Застегнул халат:

– Проси!

«Потом и не вспомню, что вертелось в голове. Строчки останутся незаконченными. Так уже бывало...»

Это было письмо от Бенкендорфа:

*«Милостивый государь, Александр Сергеевич! Я ожидал вашего прихода, чтобы объявить высочайшую волю...»*

*«Ожидал? Но ведь и не приглашал». «Но, отправляясь теперь в С.-Петербург и не надеясь видеть вас здесь, честь имею уведомить, что Его императорскому величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании юношества».*

«Зачем повторяться? Государь сам попросил меня подготовить такую записку. Справлюсь ли? Как понимаю, это еще одна проверка меня на благонадежность...»

И далее: *«...честь имею уведомить, что государь император не только не запрещает приезда вам в столицу, но предоставляет совершенно на вашу волю с тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешения чрез письмо...»*

«Ну и стиль! Когда же, наконец, этот прусак научится русскому языку? Но смысл, смысл... Государь не против моих наездов в столицу, но с предварительного испрашивания чрез письмо. Какая же это к черту свобода?!»

С тоской посмотрел на осиротевший лист бумаги, быстро оделся и велел подавать коляску. Куда? К Зубкову. Наверняка Зубков многое может рассказать о Пущине. А о

Пушине он готов слушать сколько угодно. Любой штрих, любая деталь важны.

Вспомнил, как подтрунивали над Пушиным по поводу номера его комнаты: 13 – дескать, несчастливый. Пушин усмехался: «Напротив, даже очень счастливый номер – я доволен моими учителями, мне повезло с друзьями, и вообще все по жизни у меня сложится замечательно».

А вышло вон как... Сибирь. И вправду что ли число 13 приносит несчастье? Но, с другой стороны, келья Кюхельбекера была под номером 16, а итог тот же...

Зубков несказанно обрадовался Пушкину, не знал, куда посадить его:

– Иван много рассказывал о вас: о вашей лицейской дружбе, о его поездке к вам в Михайловское.

– Василий, давай на «ты». Мы же вроде ровесники.

– Давай. Не скрою: я горячий поклонник вашего... твоего таланта. Прочитал все или практически все напечатанное. И супруга моя в восторге от твоих стихов. Цитировать может до бесконечности. И то сказать: стихи живые, легкие – тут же запоминаются.

– Ну не всегда легкие, – возразил Пушкин. – Ты мне лучше про Ивана расскажи. Каким он был на службе? Как тебе работалось с ним?

– Да, да. В отставку-то я рано вышел, в двадцать лет, – начал Зубков. – Поездил по загранице. Некоторое время числился по московскому архиву Коллегии иностранных дел. Архивным юношей, по выражению Соболевского. Термин он придумал. Потом меня пригласил к себе Пушин – советником. Судья он был дотошный, во все дела вникал основательно, стремился к тому, чтобы разрешались они по закону, по справедливости. Дел же было – невпроворот. И постоянно жаловался начальству на нехватку средств – их действительно едва доставало на зарплату подчиненным

и канцелярские принадлежности. А тут еще подоспело весьма трудное дело: об убийстве коллежского советника Времева. Слышал о таком?

– Нет, не слышал.

– О, это громкая история! Вкратце. Собрались в доме полковника Алябьева...

– Это который композитор, автор известных романсов?

– Совершенно верно: «Вечерний звон», «Соловей».

– Кстати, слова романса «Соловей» написал наш общий товарищ Антон Дельвиг.

– Вот видишь, как все переплетается. Так вот, собрались у Алябьева в Лаврушинском переулке несколько отставных офицеров, среди них и этот самый Времев. Изрядно выпили, сели за карты. Времеву жутко не везло. Проиграл он около ста тысяч, но платить наотрез отказался, еще и нахамил Алябьеву: «У вас тут баламут подтасован!» В ответ разгневанный Алябьев ударил его по голове тяжелым подсвечником. Через два дня Времев скончался. На постоялом дворе. По дороге в свое имение. Алябьева, естественно, взяли под стражу, завели дело. Ему явно грозила каторга. Но факт убийства Времева не был доказан. Скончался-то он от апоплексического удара. Спустя два дня после происшествия. Эту версию и отстаивал Пущин, но... сам угодил в Сибирь.

– А скажи, Василий, ты знал о тайном обществе?

– Знал, конечно. Сначала это был «Практический союз» Пущина – иначе «Общество семисторонней звезды». Потом – московский филиал Северного общества. Но я в него уже не входил.

– И тем не менее, как мне сказал Соболевский, был арестован, ф и пару недель отсидел в Петропавловке.

– Отсидел. Нашелся, кто показал против меня. Барон Штейнгель. Тогда друг на друга активно показывали. Обвинение звучало смешно: частные общения с Пушиным.

Частные. Но ведь по службе. Как иначе? На это я и упирал. Слава богу, отпустили, еще и прогонные до Москвы дали.

– И впрямь повезло. Карали уже только за то, что знал об обществе и не донес.

– Всех не пересажает. А Пущина жаль. Да и всех других. По-глупому как-то все вышло... Пойдем, познакомлю тебя с женой, свояченицей.

– Погоди, а то дело чем закончилось?

– Алябьева лишили чинов, наград, дворянства и сослали в Сибирь. Кстати, своего «Соловья», а следствие длилось два года, он написал в московской тюрьме, куда ему в камеру по его просьбе доставили фортепьяно.

– Вот не знал. Но музыка, музыка!

– Она его и спасала.

Василий Зубков был женат на Анне Пушкиной, дочери Воронежского губернатора Федора Алексеевича Пушкина, представителя одной из древних болдинско-пушкиных ветвей. Анна, маленькая, щуплая блондинка, преживая и превеселая, была по-своему хороша, даже прехорошенькая. Да и можно ли быть не прехорошенькой в 23 года?

Но очаровала Пушкина, если не сказать больше – потрясла, младшая сестра ее – Софья: высокая, стройная, с тонким греческим профилем, с черной косой и черными глазами. Увидев ее, Пушкин словно онемел, как это всегда с ним бывало при знакомстве с красивой женщиной – не в состоянии был толком ни выразить мысль свою, ни подержать разговор, краснел, бледнел.

Расслабился лишь, когда с Зубковым остались наедине:

– Господи, такой красивой девушки я еще не встречал!

– Так женись, – отшутится Зубков.

– А ты будь посредником.

– Ладно, – вяло согласился Зубков.

Теперь к Зубковым, на Малую Никитскую, 12, Пушкин являлся чуть ли не ежедневно. Записывал в альбом Софьи стихи, делал зарисовки, шаржи. Понимал, конечно, что у двадцатилетней красавицы не может не быть поклонников. Тот же Федор Туманский, которого Пушкин знал еще по Кишиневу – дипломат и поэт. У Пушкина потемнело в глазах, когда в альбоме Софьи увидел его мадригал:

Она черкешенка собою,  
Горит агат в ее очах,  
И кудри черные волною  
На белых лоснятся плечах...



*Софья Пушкина*

Тут примешалась и поэтическая ревность: в шутовском соперничестве трех поэтов – Пушкина, Туманского и Дельвига на лучшее стихотворение о птичке друзья-литераторы предпочли «Птичку» Туманского.

Бледный, с потухшим лицом, Пушкин ворвался в кабинет к Зубкову:

– Перо, бумагу! Нет, лучше твой альбом, – и стремительно написал:



## ОТВЕТ Ф.Т.

Нет, не черкешенка она;  
Но в доли Грузии от века  
Такая дева не сошла  
С высот угрюмого Казбека.  
Нет, не агат в глазах у ней.  
Но все сокровища Востока  
Не стоят сладостных лучей  
Ее полуденного ока.

– Покажи Софье.

Зубков пробежал текст:

– Полуденное око... Это как?

– Знойное, Зубков, знойное. Что же такое простое не понимаешь?

Зубков слегка насупился:

– Отчего же в ее альбом не записал?

– Не знаю. Из-за волнения, наверное. Василий, скажу тебе как на духу: я покорен ее красотой. Боже мой, что за глаза! – вскочил, заходил вокруг стола. – Я вижу раз ее в ложе, в другой – на бале, в третий – сватаюсь...

А «Птичка» Ф. Туманского стала романсом:

Вчера я растворил темницу  
Воздушной пленницы моей:  
Я рощам возвратил певицу,  
Я возвратил свободу ей.  
Она исчезла, утопая  
В сияньи голубого дня,  
И так запела, улетаю,  
Как бы молилась за меня.

---

## *Карету мне, карету!..*

### Стычка

Проснулся от жалобного визга за дверь: «Тимбим!» Быстро поднялся, распахнул дверь: те, Тим и Бим, толкаясь, вкатились в комнату, сунулись к дивану, под стол. «Хозяина ищут. А хозяин – сегодня четверг? – да, на службе: архивный юноша».

Обратил внимание на записку на столе: «Не забудь, сегодня бал у Грубецких».

«Балы, званые обеды, – усмехнулся. – Всем невтерпеж лицезреть мой арабский профиль. И, конечно, дружеские застолья. Вот и вчера – праздновали «Московский вестник». Погодин ликовал: пробил-таки свой журнал. Ликовали его друзья-любомудры. Молодняк! Дерзкие, умные, но буквально свихнулись на немецкой философии, немецкой эстетике – младошеллингианцы. Представляю, какой это будет журнал... Подтрунивали над Веневитиновым, безнадежно влюбленным в княгиню Волконскую. Говорят, подарила ему редкой работы перстень... Отличился некий Оболенский: пьяненький, взъерошивая хохолок, подскочил и воскликнул: «Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, я – единица, а посмотрю на вас и покажусь себе миллионом. Вот вы кто!» Что имел в виду? Бог его знает.

Разразились хохотом и закричали: «Миллион! Миллион!..» Сочинили с Баратынским эпиграмму на Шаликова\*. Соболевский возмутился: «Будет вам насмехаться. Шаликов честно делает свое дело, журнал его на ходу. А как пойдет «Московский вестник», еще неизвестно». В самом деле, пойдет ли?»

А над Шаликовым (вообще-то Шаликашвили – из грузинских князей) не подшучивал разве что ленивый, чему причиной был его «Дамский журнал»: стихи дам, стихи для дам – по большей части наивные, плаксивые, «умные» советы некой мифической собеседницы. Журнал у многих вызывал улыбку. И тем не менее это было первое в России издание для женского общества...

«И не забывайте, – продолжил Соболевский. – Шаликов – единственный из литераторов, кто остался в захваченной французами Москве и потом описал те трагические дни. Только ему одному можно верить».

«И ведь прав Соболевский! Определенно прав. А вот и он».

Соболевский почти ворвался – веселый, розовощекий:

– Ну что, поднялся?

– Тимбим разбудили.

– Это хорошо, – окликнул дворецкого. – Унеси их, – и уже к Пушкину: – Собирайся, едем в «Яр» обедать.

---

\* Князь Шаликов, газетчик наш печальный,  
Элегию семье своей читал,  
А казачок огарок свечки сальной  
Перед певцом со трепетом держал.  
Вдруг мальчик наш заплакал, запищал.  
«Вот, вот с кого пример берите, дуры!» –  
Он дочерям в восторге закричал.  
«Откройся мне, о, милый сын природы.  
Ах! Что слезой твой осребрился взор?»  
А тот ему: «Мне хочется на двор».

– О, господи! «Соболевский – брюхо Пушкина», как говорит Вяземский.

– Ну и что? Вот взгляни, на Кузнецком купил: твой приятель Великопольский.

– Да какой он мой приятель? Партнер по штоссу, – повертел книжку в руках: – «Арист. Или сатира на игроков». Забавно!

– И литография кудрявого юноши. На тебя похож.

– Кстати, и на тебя.

– Я не игрок.

– Ой-ой!.. Сам-то прочел?

– Так, книжица. Двадцать страниц. Там некий поэт Арист в одну ночь проиграл все свое состояние и сошел с ума.

– Нд-а-а. Ох, Великопольский! Ладно, потом посмотрю, – бросил книжку на стол.

– Потом, потом. Так как насчет Трубецких?

– Будем, конечно, – уселся за туалетный столик, достал щипчики, пилочки. – Дом-комод.

Соболевский покосился на него:

– Да, именно так называют дом Трубецких. И вправду неуклюжий он, как комод... И Муханова с собой захватим. Он из наших, архивных. Страстный твой поклонник.

– Это который без спроса взял у меня кусок «Цыган» и распустил его по свету? Варвар! Ведь это кровь моя, ведь это деньги!

– Ладно, успокойся, – присел рядом. – И как тебе вчерашняя пирушка?

– Пирушка как пирушка, – равнодушно ответил Пушкин, продолжая работать пилочкой.

– Португальское лилось рекой. Тут уж Погодин преуспел! Мицкевич, как всегда, был в ударе.

– Одаренный, черт!

– Мне показалось, что в его присутствии ты как-то тушуешься. Меньше говоришь, больше слушаешь.

– Мицкевич – образованный человек, а я ценю умных людей. Только слишком уж преклоняетесь перед ним.

– Ревнуешь, что ли?

– Еще чего!

– А тосты следовали за вас двоих. Погодина с его «Вестником» как и не бывало. За вас, первых поэтов России и Польши.

– Еще скажи Востока и Запада. Польша Запад? – метнул гневный взгляд. – Мицкевич не любит Россию.

– Царей или Россию?

– Что одно и то же. Я с жаром делился с ним замыслом новой поэмы, где Мазепа, украинский гетман, бывший сподвижник Петра, предает его и перебегает к шведам, а твой длинноносый Адам слушал, вникал и то и дело вставлял язвительные шпильки: «царь-тиран», «венчанный кнутодержец». Я едва сдержался. Ты знаешь, что такое для меня Петр Великий. Еще сказал, что хочет написать про Петра.

Те стихи (Мицкевич будет уже далеко) каким-то чудом, да каким чудом? – Соболевский привезет из Парижа, дойдут до Пушкина. Даже цикл стихов. О памятнике Петру: *«литой скакун, топча людей, куда-то бурно рвется»*, о Петербурге: *«Рим создан человеческой рукой, / Венеция богами создана, / Но каждый согласился бы со мной, / Что Петербург построил сатана»*. Каждый согласился бы? Кто эти каждый? Нет, только не он. Но больше всего возмутит то, что слова эти Мицкевич вложит в его уста как литературного персонажа. Перепишет стихи в тетрадь (польский к тому времени уже освоит) и сядет за ответ:

Наш мирный гость нам стал врагом – и ядом  
Стихи свои, в угоду черни буйной,  
Он напояет. Издали до нас  
Доходит голос злобного поэта,

Знакомый голос!.. Боже! Освяти  
В нем сердце правдою твоей и миром  
И возврати ему...

Тут собьется и больше к стихотворению не вернется, видимо, понимая, что до Мицкевича оно все равно не дойдет...

– В «Яр», так в «Яр». Но сначала завернем, знаешь куда? На Немецкую улицу. Я там родился. Дом, конечно, не помню. Да и родители вряд ли помнят. Семья прибавлялась и всякий раз переезжала по новому адресу. Но, как говаривала няня, – на Немецкой.

– Да вся она теперь другая, твоя Немецкая, – заметил Соболевский. – Два-три прежних дома, может, и остались. И еще церковь.

– Богоявления в Елохове? Там меня крестили. Представь себе, – засмеялся, – в трапезной! Но гурманом, как видишь, не стал.

Проехали Покровку – свежесымощенная мостовая, опрятные дома и, словно улыбающиеся, окна. Глаз радуют!

– Запиши, Соболевский, а то забуду: московские улицы моложе московских красавиц!

– Уже записал.

– Кошунственно, но пожар Москве пошел во благо.

Вот и Немецкая – прямая, аккуратная.

«И где находился тот дом? Справа? Слева? Кто подскажет? Да никто. Впрочем, есть человек, который может помочь: настоятель храма. Ведь в метрике о моем рождении наверняка указан дом, двор, где жили мои родители и где я, соответственно, родился».

В церкви поразили тишина (служба еще не началась) и торжественность – остановившаяся Вечность.

Просьбе Пушкина посмотреть запись о своем рождении настоящий ничуть не удивился:

– Нынче многие обращаются: ищут родных, знакомых – война-то раскидала людей... Какой, говорите, год?

– 1799-й. 28 мая.

– Вот, пожалуйста: «...во дворе коллежского регистратора Ивана Васильева Скворцова у жильца ево мозора Сергея Львова Пушкина...»

– Во дворе коллежского регистратора Скворцова. Где он тот двор, где находился?

– На углу Малой Почтовой улицы и Гошпитального переулка. Тут неподалеку.

Пушкин удивленно взглянул на батюшку:

– Значит, не на Немецкой?

– Вовсе нет.

– Эх, нянюшка, все напутала! Сергей, – повернулся к Соболевскому, – на Малую Почтовую. Погоди! – снова склонился над журналом: «Крещен июня 8 дня, восприемник граф Артемий Иванович Воронцов, кума-мать означенного Сергея Пушкина вдова Ольга Васильевна Пушкина».

– Тут все верно. Спасибо, батюшка!

Дальше отправились пешком, наказав кучеру следовать рядом.

– Что так спешишь? – ворчал Соболевский.

– Так событие! – отшвырнул попавшийся под ноги камешек. – Увижу хотя бы не дом, а место, где родился. Хорошо тебе знать свой дом.

– Дом незаконнорожденного?

– Извини!

– А скажи, этот твой восприемник граф Артемий Воронцов... Нет, наоборот: твой одесский Воронцов, как бишь его величать?

– Михаил Семенович.

- Не родственник ли он Артемию Воронцову?
- Вроде как родственник. Дальний.
- Так бы и сказал ему: милостивый Михаил Семенович, я ваш родственник или почти родственник, так что поделитесь супружницей. Почти поделитесь.

Пушкин ухмыльнулся:

– Я и намекал. А вообще, дворянские роды у нас настолько перемешались, что скоро все мы станем родственниками. Мне, если хорошенько покопаться в родословной, родней могут быть и Батюшков, и Державин, и Чаадаев, и все Трубецкие с Голицыными...

– И я, и Нащокин.

– Как же без вас? Ну вот, кажется, пришли. Угол Малой Почтовой и Гошпитального.



*Здесь, на углу Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка находился дом, где родился А.С. Пушкин*

- И что видим? – вертел головой Соболевский.
- Видим-видим, – Пушкин снял цилиндр. – Ну, здравствуй, угол моего рождения!
- Угол! – воскликнул Соболевский. – Угол великого поэта! Браво!



– Когда-нибудь детям своим покажу: здесь был дом, неказистый, деревянный...

– И сколько же у тебя их будет?

– Много.

– Зачем?

– Не знаю, – нахлобучил цилиндр. – Теперь можно и в «Яр», – и продолжил, уже усаживаясь в коляску: – Меня одно удивляет – никто ничего Мицкевича не читал.

«Все не успокоится», – про себя усмехнулся Соболевский.

– И я не читал, – продолжил Пушкин. – Нет переводов. Разве что Вяземский читал. Тот по-польски шпарит будь-будь. Зря, что ли, в Варшаве столько торчал?

– Конституцию Польши писал. Ратовал за освобождение крестьян, – ухмыльнулся декабрист без четырнадцатого декабря.

– Ну это ты сильно сказал... Так вот, если никто из нас, большинство, по крайней мере, Мицкевича не читали, за что же восхваляем его? За импровизации? Да, в импровизациях он силен. Заметь: на французском. Русского-то не знает.

– Ну и что?

– Ох уж это твое «Ну и что»! *Mylord qu'importe\**. Так тебя называют?

– Ну и что? – дурачился Соболевский. – Мицкевичу на день его рождения мы подарили серебряный сосуд с выгравированными нашими именами: я, Веневитинов, Погодин, Шевырев... Он поблагодарил нас и тут же сочинил поэму о монахе, оставшемся по жизни с одним-единственным сосудом. А как восторгается его импровизациями княгиня Зинаида Волконская, тихонько аккомпанируя ему на пианино! Ты заметил?

---

\* *Mylord qu'importe* – синьор «Ну и что?» (фр.)

– Импровизация – еще не литература. – Пушкин досадливо поморщился: – Игра в литературу.

– Но, согласись, игра гениальная. И не ты ли восклицал на вечеринке у Погодина *Guel genie! Guel feu sacre! Gue suis-je aupres de lui?*\* – и бросался к нему с объятиями?

Пушкин расхохотался:

– Простите, дети, я был пьян.

Зал слепил светом люстр, нарядами дам.

«Ушаковых что-то не вижу. Наверное, в опере».

К сестрам Ушаковым, Екатерине и Елизавете, он невольно привязался. Бывал у них чуть ли не ежедневно. А сколько стихов занес в их альбомы, дружеских шаржей, в том числе на самого себя!

И вообще дом Ушаковых отличали образованность, культура, как бы сказали сегодня – интеллигентность. Отец, небольшого чина, живо интересовался литературой, любовь к поэтическому слову передал дочерям. Вместе с ними переписал распространяемую в списках комедию «Горе от ума» Грибоедова. Пушкин же словно поселился в их доме: везде его книги, на попире ноты романсов на его стихи...

Снова окинул взглядом дамское общество: «Ни одного прелестного личика. И как же надоели эти букли, утянутые талии, распирающиеся юбки!»

За дальним столиком приметил Софью Урусову – пышное кофейного цвета платье, сияющее декольте – в окружении семейства: отец, мать, сестра, двоюродный брат – артиллерийский офицер Соломирский.

Бывал у них. Глава семейства, знаток истории, архитектуры, возглавлял комиссию по строительству Большого

---

\* *Guel genie! Guel feu sacre! Gue suis-je aupres de lui?* (фр.). Какой гений! Какой священный огонь! Что я рядом с ним?

Кремлевского дворца. Супруга – сестра дипломата Татищева – женщина в высшей степени образованная, в совершенстве, что ей особенно ставилось в заслугу, владела английским языком. И три дочери – три грации. Некоторое время его интересовала старшая, Софья: ясноглазая, белые плечи. Хохотунья. Правда, в смехе ее было что-то странное. Не потому что прикрывалась краешком ладошки – это ладно, это даже пикантно. Смех ее всякий раз был как бы запоздалый, словно она терялась, соображая, как отреагировать на шутку, острое словцо, и потом уже разливалась продолжительным смехом.



*Софья Урусова*

Черкнул в ее альбом:

Не веровал я троице доньне:  
Мне бог тройной казался все мудрен;  
Но вижу вас и, верой одарен,  
Молюсь трем грациям в одной богине.

«Ладно уж, богиня. Чего доброго зазнается, и женихам будет не достучаться до нее. Что же до меня, то любая дамочка с пышными плечами – богиня. И вообще, строчки из Вольтера».

Вздروгнули аккорды.

– Господа, я пошел!

Соболевский и Муханов проводили его улыбкой.

– Походка, как у юноши, – заметил Муханов, – легкая, пружинистая.

– Он весь – пружина.

– Только успевай накручивать.

– Сам и накручивает себя.

Пушкин подошел к Урусовым. Короткий кивок мужчинам, подчеркнутый – Софье (в ответ, понятно, реверанс) и повел ее в круг.

А мазурка уже гремела вовсю. Лихо прыгали пары.

– Откуда столько энергии? – восторгался Муханов Пушкиным. – Фалды вон как разлетаются!

– Так ведь со времен Одессы не танцевал. А в Михайловском, сам знаешь, какие балы? Вот и отрывается. И потом паркет этот хорошо знаком ему. Как сам рассказывал, еще мальчишкой водили его и сестру Ольгу сюда, в дом Трубецких, на уроки танцевания. Затем – на детские балы к Йогелю.

– Всем бы нам по Йогелю, – проворчал Муханов и уже восторженно: – А Урусова хороша!

– Ну и сватайся.

– Шутишь? Кто я – переводчик в московском архиве? И кто она? Княгиня!

– И сенатор-отец, – добавил Соболевский. – А вообще – извечный царский завхоз: обер-гофмайстер. Был вторым номером на коронации Николая. После Юсупова, разумеется. Состоял в комиссии по возведению храма Христа Спасителя.

– И где тот храм? Деньги разворовали – архитектора Витберга посадили.

– Все по-русски! Но Витберг, думаю, тут ни при чем. Просто оказался никудышным организатором, этим и воспользовались казнокрады, – бросил взгляд на Урусову. – Грациозна, чертовка! Кто-то назвал ее царицей московских красавиц. И, знаешь, приглянулась новому царю. На балу по случаю коронации.

– Откуда знаешь?

– Я все знаю. И императрице понравилась. Так что скоро будет при дворе.

Соболевский как в воду глядел: уже через полгода Софья Урусова будет произведена во фрейлины и переедет в Петербург. Станет, по сути, фавориткой Николая I. Тот ни в чем не будет ей отказывать.

Замуж Софья выйдет поздно. За «страшно богатого», как скажут ее завистники, прусского выходца Радзивилла, опять-таки адъютанта императора Николая. Много времени проведет в Париже, одна, без мужа. Там и умрет бездетной...

Музыка смолкла. Кавалеры галантно развели дам по местам, а Пушкин все еще удерживал Софью в зале.

– Это он зря, – заметил Соболевский, – после танца оставаться с дамой в зале не принято: знак публичного внимания к ней. Завтра же поползут слухи, что Пушкин неравнодушен к Урусовой.

Пушкин сопроводил Софью к креслу и чуть ли не вприпрыжку с разрывающейся от смеха физиономией заспешил к своим.

– Ты чего? – спросил Соболевский.

– Да так, – перевел дух, – представляешь, спрашиваю ее: «Какую книжку вы читаете?» – «Розовенькую, – говорит она, – а сестра – голубую».

Смеялись уже вместе, поглядывая в сторону Урусовых, откуда – по-офицерски чеканно уже вышагивал Соломирский. Встал перед Пушкиным, щелкнул каблуками:

– Милостивый государь, вы оскорбили честь женщины, потрудитесь извиниться.

– Честь женщины? Это какой же? – Пушкин изобразил удивление.

– Честь моей сестры.

– Ну это вы придумали, милостивый государь.

– Я требую дуэли.

– За чем же дело? – взглянул на Соболевского. – Уже завтра у вас будет мой секундант.

Тот снова щелкнул каблуками и удалился.

Соболевский вытаращил глаза:

– Пушкин, ты сдурел?

Пушкин подтянул перчатки:

– Черт! Правая порвалась.

– Что ты делаешь? – возмущался Соболевский.

– Я делаю то, что требует дуэльный кодекс. И запомни, милый мой Сергей Александрович, надо же, тезка наоборот! Я никогда, ни при каких обстоятельствах не уклоняюсь от дуэли.

– Да глупость все это!

– Возможно, – расплылся в улыбке. – Хочешь, продолжу? Снова спрашиваю ее: «Что же вы все-таки читаете?» А она в ответ: «Какими мылами вы пользуетесь при бритье?» Ну не смешно? Ладно, все это я придумал. Покидаем бал. Вон и Урусовы засобирались... Не люблю блондинок.

«К тому же у меня уже есть Софья: черноглазая, черная коса, черешневые губы. Сказать им, что посватался? Да нет, повременю...»

Дуэль не состоялась. Наутро собрались у Соболевского: Пушкин, Муханов, Соломирский. Никаких объяснений, ни-

каких извинений – о вчерашнем даже не вспоминали. Просто пили, просто балагурили, по-мужски сплетничали. Скорее всего, свою роль в непродолжении неприглядной истории сыграл сам Урусов, смекнув, что дуэль Соломирского, пусть и дальнего родственника, с Пушкиным, имя которого гремело по Москве, к тому же столь любезно принятым государем, скомпрометирует и его самого, Урусова...

Бессонница. Потянулся за книжкой Великопольского. «Эх, Иван, срезался бы с тобой в штосс, но, увы, сражаться приходится в стихах». Макнул перо:

**ПОСЛАНИЕ К ВЕЛИКОПОЛЬСКОМУ,  
СОЧИНИТЕЛЮ «САТИРЫ НА ИГРОКОВ»**

...Некто мой сосед,  
В томленьях благородной жажды,  
Хлебнув кастальских вод бокал,  
На игроков, как ты однажды,  
Сатиру злую написал  
И другу с жаром прочитал.  
Ему в ответ его приятель  
Взял карты, молча стасовал,  
Дал снять, и нравственный писатель  
Всю ночь, увы! понтировал.  
Тебе знаком ли сей проказник?  
Но встреча с ним была б как праздник:  
Я с ним готов всю ночь не спать  
И до полднего сиянья  
Читать моральные посланья  
И проигрыш его писать.

«Завтра же отдам стихи Погодину. Нет, лучше отправлю в «Северную пчелу», в Петербург. Там Иван скорее их увидит»...

## 19 октября

Перевернул календарь-численник: 19 октября. «Годовщина лица. Пятнадцатая уже! Где мы? С кем мы? Раскидало нас...»

Набил чубук, велел принести вина.

Бог помочь вам, друзья мои,  
В заботах жизни, царской службы  
И на пирах разгульной дружбы,  
И в сладких таинствах любви!

«Нет, не то: *«царской службы...», «разгульной дружбы...»* Но как же легко прежде ложились строчки! *«Друзья мои, прекрасен наш союз!.. Все те же мы: нам целый мир чужбина; Отечество нам Царское Село»*... Увы, увy, не те же мы. И Россия уже не та – словно оглушенная. Померк и светлый лицейский образ. Где теперь Пущин, Кюхельбекер?»

Тоскливо взглянул на стопку писем на столе: «Всё – Бенкендорф! Похоже, я становлюсь первым его адресатом».

*«...Ныне доходят до меня сведения, что вы изволили читать в некоторых обществах сочиненную вами вновь трагедию».* Откуда узнал? Кто донес? И как же сановитиевато: *«Сие меня побуждает вас покорнейше просить об уведомлении меня, справедливо ли такое известие или нет».*

«Справедливо, Христофор Александрович, справедливо. Странно, что вы не упомянули «Андрея Шенье», «Пророка», я их тоже читал в московских домах. Не донесли еще?»

*«Я уверен, впрочем, что вы слишком благомыслящий, чтобы не чувствовать в полной мере столь великодушного к вам монаршего снисхождения и не стремиться учинить себя достойным оногo».*



«Учинить себя... Боже, что за стиль?!»

Ответил тогда почти извинительно: да, читал трагедию некоторым особам, но не из послушания, а только потому, что худо понял волю государя...

Бенкендорф, конечно, уловил лукавство и затребовал все новые произведения, в том числе находящиеся на рассмотрении в московском и петербургском цензорных комитетах. Даже мелкие. Пушкин переслал. А куда было деваться? И попросил Дельвига, издателя «Северных цветов», чтобы и он все его стихи, отрывки из третьей главы «Онегина», уже подготовленные к печати, передал Бенкендорфу.

Бенкендорф снова надулся: не следовало было поручать сие барону Дельвигу, которого он, видите ли, знать не знает. Но ведь Дельвигу это проще было сделать: он в Петербурге...

И совсем свежее письмо с припиской Николая I: *«Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скота».*

«Бред какой-то! – отбросил письмо. – Во-первых, «Борис Годунов» никакая не комедия, а истинно драматическое произведение. Во-вторых, сам-то хоть читал? Или всецело доверился Бенкендорфу?»

Да, действительно, Николай I не стал читать «Бориса Годунова», а попросил Бенкендрофа подготовить выписку из пьесы, что и было кем-то из придворных литераторов исполнено – «Выдержка из комедии о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве. Ход пьесы». Наверняка – Фаддеем Булгариным, извечным пушкинским завистником и недоброжелателем. Подзаголовок же «Ход пьесы», видимо, и надоумил царя на необходимость переделки Пушкиным стихотворной пьесы в прозаическую.

«И что ответить? – придвинул лист бумаги. – Остынь, остынь, Пушкин! – усмехнулся. – Учини себя, – как там у

Бенкендорфа? – достойным оно, – взял перо, – нет, это совсем тонкое, только заточенное, вот это, с жирным оттиском):

*«Милостивый государь Александр Христофорович, с чувством глубочайшей благодарности получил я письмо Вашего превосходительства, уведомившее меня о всемилостивом отзыве его величества касательно моей драматической поэмы. Согласен, что она более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как государь император изволил заметить».*

Пробежал текст: «Не получается, «учинить себя» не получается – и стремительно закончил: *«Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное».*

Понимал: это приговор пьесе. Так и выйдет. Четыре года «Бориса Годунова» не будут пропускать в печать. Фаддей же Булгарин за это время напишет свою историю о Гришке Отрепьеве, не постеснявшись кое-что содрать у Пушкина.

*«Снова тучи надо мною...»*

Потянулся еще за одним письмом-пакетиком. Сломал сургуч, развернул: *«Милостивый Александр Сергеевич?..»* Бросил взгляд на подпись: Фаддей Булгарин. И что ему надо?

В письме Булгарин сообщал, что в редакцию «Северная пчела», им издаваемую, поступил ответ Великопольского на его, Пушкина, послание «Сочинителю «Сатиры на игроков», где содержится пассаж *«Глава «Онегина» вторая съезжала скромно на туза»*, в чем цензура усматривает личностное и считает нужным соотнестись с ним по поводу возможности напечатания стихов.

«Цензура усматривает... А сам, небось, досадует – Фаддей Тадеуш Кшиштоф? С удовольствием напечатал бы. Нет, нет и еще раз нет! – закружил по комнате. – И еще этот Великопольский! Никак не уgomонится. Но и цапаться более ни к чему. Отвечу как можно спокойнее. Не вызывать же его на дуэль?»

*«Любезный Иван Ермолаевич! Булгарин показал мне очень милые ваши стансы ко мне в ответ на мою шутку. Он сказал мне, что цензура не пропускает их без моего согласия. К сожалению, я не могу согласиться... Я не проигрывал 2-й главы «Онегина», а ее экземплярами заплатил свой долг, так точно, как вы заплатили мне своими родительскими алмазами и 35-ю томами энциклопедии. Что, если напечатать мне сие благонамеренное возражение? Но я надеюсь, что я не потерял вашего дружества и что мы при первом свидании мирно примем за карты и стихи. Простите.*

*Весь Ваш А.П.»*

«Простите», наверное, лишнее. Ладно уж, пусть будет. Может, отвяжется наконец!»

Украдкой, словно извиняясь, взглянул на календарь:

Бог помочь вам, друзья мои,  
И в бурях, и в житейском горе,  
В краю чужом, в пустынном море,  
И в мрачных пропастях земли!

...Гулко отозвались лицейские коридоры, зашелестел парк, сверкнул в лучах заходящего солнца царскосельский пруд...

А Великопольский не отвяжется. Спустя какое-то время отдельной книжкой выйдет его повесть в стихах «Московские Минеральные воды», где Пушкин («небольшого роста, с живыми глазами человека, в котором по некоторым известным признакам можно узнать Поэта») будет выставлен весьма карикатурно: алчным, сладострастным. По сути, это будет пасквиль.

«Да плюнь ты на него!» – скажет Пушкину Соболевский. – Мизинца твоего он не стоит». – «Так и сделаю», – согласится Пушкин.

И все же не удержится, напишет:

...Проигрывал ты кучу ассигнаций  
И серебро, наследие отцов,  
И лошадей, и даже кучеров –  
И с радостью на карту б, на злодейку,  
Поставил бы тетрадь своих стихов,  
Когда б твой стих ходил хотя в копейку.

Великопольский тоже напишет. Но это уже неинтересно...

## Остафьево

Бревенчатая мостовая скоро закончилась, и потянулась привычная грунтовка с деревянными избами, журавлями-колодцами.

– Совсем деревня, – не удержался Пушкин.

– Москва пока в центре хорошеет, – заметил Вяземский, – но теперь земляной вал снесен, белый город разобран, Москва потянется вширь и ввысь, – взглянул на часы: к полудню будем. Это недалеко, верст тридцать.

Пушкин откинулся на подушку, прикрыл глаза: *«С утра садимся мы в телегу...»*\*

– В коляску, – усмехнулся Вяземский.

– *«Мы рады голову сломать...»*

– *«И, презирая лень и негу...»*

– *«Кричим: валяй!..»*

– Пошел!..

– Можно и *«пошел»*. И без русского титула\*\*. Впрочем, дамочки легко домысливают.

---

\* А.С. Пушкин. «Телега жизни».

\*\* Русским титулом Пушкин называл нецензурные выражения.

– Да уж. «...А время гонит лошадей». Мудрые стихи.  
– Спасибо тебе и, разумеется, «Московскому телеграфу» за публикацию их, пока я отсиживался в Кишиневе.

Вяземский повел рукой:

– Гляди, развалины Екатерининского дворца.

– Развалины?

– Проектировал дворец Баженов и даже успел что-то построить. Екатерине не пришлось, велела все снести, Баженова уволить, а проект передать Казакову, к которому, как рассказывают, благоволила. Но и он не смог ей угодить.

– Капризная была баба.

– Еще как! Павел, сын ее, возвращаться к дворцу не стал. Да и Александру Павловичу бабкин долгострой оказался ненужным. Вот и маячит он бельмом на московском пейзаже. Наверняка и другому внуку, Николаю, он не потребуется. Свой будет строить. Да-а, дворцы – болезнь царская, – повернулся к Пушкину. – Видел, видел вторую песнь «Онегина» – тоненькая брошюрка в сорок восемь страниц. Следовало бы присовокупить к ней третью.



«Евгений Онегин». 2-я глава

– Больше экземпляров – больше денег. Я не понимаю Языкова. Даровитый поэт, с хорошим будущим, но такое сморозить: «Онегин» – зарифмованная проза! Не понял дерптский выученик, что я давно уже выскочил из романтизма.

– Но в глазах читателей ты по-прежнему поэт-романтик.

– Понимаю: «Руслан и Людмила». Правда, никто и не заметил, что поэма холодновата. Ко второму изданию чуть

согрею ее. Предисловием: «У Лукоморья дуб зеленый...» А «Пленник», «Фонтан», «Цыганы» – просто дань схематичному романтизму. «Онегин» – другое дело.

– И насколько затянется твой «Онегин»?

– Еще года на три-четыре. Пишу, переделываю. Пускай барыня-публика сплетничает, додумывает.

– Уже додумывает и подражает.

– Знаю. Некий студент Полежаев пародию написал.

– Не студент уже. Слухи о его поэме, поэма называется «Сашка», дошли до государя Николая. Потребовал Полежаева к себе в Кремль, кстати, за несколько дней до твоего приезда в Москву, и заставил читать поэму вслух. Полежаев прочитал. Николай разгневался и велел забрить его в солдаты. Вот так, в течение недели одного поэта помиловал, другого покарал.

– Смена караула, – Пушкин засмеялся. – Кто следующий? Я знаю, кто: Чаадаев. Смел в суждениях, резок в высказываниях.

– Чаадаев – философ. А к философам власть относится так же по-философски, дескать, бредовые выдумщики.

– Как бы не так! А вообще всякий мыслящий человек – философ. Так что поэма Полежаева? Так уж крамольная?

– Скорее фривольная, типа дядюшки твоего «Опасного соседа», но поглубже, позлее и напрочь богохульная. Хулиганисто-богохульная. А по сюжету, легкости стиха – твой «Онегин». Разве что герой – студент.

– Богохульная? – проводил взглядом изгибающуюся речушку.

– Пахра, – подсказал Вяземский.

– Что-то дославянское... Удивляюсь, как до моей «Гавриилиады»\* еще не добрались.

– Прекрасная шалость!

---

\* Пародийно-эротическая поэма на евангелиевский сюжет.

– Лицейская. Но за такую шалость... Найдется, найдется попик, который донесет куда надо. Конечно, при случае могу сказать, что список ее вручил мне некий гвардейский офицер из царскосельского полка. Но это все сказки...

На почтовой станции решили задержаться: согреться, дать лошадям отдохнуть.

– Кого я вижу? Петр Андреевич, – к ним подошел Булгаков, пожал руку Вяземскому, Пушкину:

– Александр Сергеевич, рад, очень рад снова вас видеть. Ваш «Годунов» – это что-то невероятное. Я до сих пор под впечатлением.

Вяземский хмыкнул:

– Вся Москва под впечатлением.

– Да, вся Москва. С удовольствием еще бы послушал.

– Я не артист, чтобы читать свои вещи на бис, – сухо заметил Пушкин.

– Да-да, конечно. Так вы куда? В Москву? Из Москвы?

– В Остафьево. А может, – Вяземский подмигнул, – откупорим бутылочку рейнвейна?

– Нет, братцы, не могу. Дела, знаете ли...

– Что ж? – Вяземский изобразил сожаление. – Кланяйся супруге.

– Да-да, непременно! – и удалился, помахивая тросточкой.

– И чего лебезит? – взорвался Пушкин. – Я же видел, с каким лицом сидел он тогда, у тебя, когда я читал «Годунова», – сыч сычом. И – кукиш в кармане. Кто он вообще, этот Булгаков?

– Сын дипломата.

– Ну и что? Сам-то кто? Как ты сказал, чиновник при архиве. Так для «архивного юноши» он вроде староват.

– Прежде служил при московском генерал-губернаторе порученцем. Теперь вот отсиживается в архиве, дожидается места почтмейстера.

– Ага! И будет перлюстрировать мои письма, доносить на меня?

Вяземский пожал плечами:

– Брат его, Яков, уже почтмейстер. В Петербурге.

– Два кукиша в кармане! Мать их!.. Ну и приятели у тебя! Ответь, как Бенкендорф прознал, что я читал «Бориса» у тебя, у Веневитиновых, у Соболевского, у княгини Волконской, в других домах? Устроил мне выволочку. Ненавижу жандармерию!

Коляска снова затряслась по косограм и оврагам.

Пушкин свернул газету («Санкт-Петербургские ведомости»), любезно предложенную ему станционным смотрителем:

– Вот вычитал: в Петербурге тридцать словесников давали обед Жаку Ансело\*. Кто эти бессмертные? Считаю по пальцам и не досчитаюсь. Зачем пустили его, которого я ни стишка не помню, по кабакам отечественной словесности? Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда. Русской барин кричит: «Мальчик, забавляй Гекторку!» – датского кобеля. Мы хохочем и переводим эти барские слова любопытному путешественнику, и он печатает их в Европе – это мерзко. Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство...

Помолчали, понимая, что хотелось бы говорить о чем-то другом, приятном.

– Ты, говорят, зачастил на Пресню к Ушаковым? – спросил Вяземский.

Пушкин довольно улыбнулся:

– Сестры-сирены. Особенно хороша старшенькая, Кате-

---

\* Жак Арсен Франсуа Ансело – французский драматург и журналист; в очерке «Шесть месяцев в России» довольно нелицеприятно высказался о стране и народе.



рина. «Ходит маленькая ножка, вьется локон золотой...»  
Ей посвятил.

– А посватался к Софье Пушкиной.

– Уже знаешь.

– Москва слухами полнится, – уклончиво ответил Петр Вяземский.

– Впрочем, чему удивляться? Со сватовством меня уже Дельвиг поздравил. Значит, и Петербург в курсе?

– Значит, и Петербург.

Не стал Вяземский передавать Пушкину свой недавний разговор с матерью Екатерины Ушаковой. Та спрашивала, как смотрит он, Вяземский, на Александра Сергеевича, видит ли его женихом Катеньки? «Пушкин – поэт от бога, – отвечал он, – характера неровного, но душа его добрейшая, беззащитная». Мать Катеньки лишь качала головою: «Да, он – поэт русский, но беден, хоть род и древний, дворянский. Чем жить станут? А Впрочем, ежели Катенька любит и понимает, кто такой Пушкин, они с отцом неволить ее не станут и приданное ей сыщут, и благословят; он в их доме давно уже как дитя родное...»

– Софья точно мой идеал, – продолжал Пушкин. – Важно, что не блондинка. А мне, знаешь, нагадали смерть от белого человека. Значит, и от жены, если будет *Weisen Kopf*\*. Катерина как раз такая. К ней, кстати, посватался князь Петр Долгоруков. Давно за ней увивается. Второй Вигель\*\*.

Вяземский поморщился.

– Да, да, – горячился Пушкин. – Бонвиван и водится с пажмальчиками. Узнай об этом отец Екатерины, наверняка

---

\* *Weisen Kopf* (нем.) – белая голова.

\*\* Ф. Вигель – поэт, публицист, мемуарист, о ком водился слухок о нетрадиционной его ориентации. Пушкин писал ему: *(продолжение см. на стр. 186)*

отворотит его от дома. Переговорю с ним. Уже в ближайшее время.

Так и сделает. Явившись в очередной раз к Ушаковым, сразу же направится в кабинет главы семейства. Разговор их будет доверительно мужской и ошеломляющий для Николая Васильевича. Уже к вечеру он объявит дочери: свадьбе не бывать. «Но почему? – спросит она. – Объясните, папенька». – «Девице сие знать не подобает», – только и скажет он. Вернут жениху и все его подарки. Такому повороту Екатерина не очень расстроится: Долгорукова-то она не любила. В сердце ее жил Пушкин...

Замуж Екатерина Ушакова выйдет довольно поздно: за престарелого вдовца, коллежского советника, даже имя его не хочется упоминать – человека недалекого, скупого и до дикости ревнивого. Он все будет делать для того, чтобы истребить из ее памяти Пушкина: потребует сжечь его письма, девичий альбом со стихами и такими милыми рисунками поэта. Золотой браслет, подарок Пушкина, разломает на части, а камень из него отдаст ювелиру – кольцо же с тем камнем как бы случайно потом затеряется. Разобьет и лорнет, сделанный из кусков того самого браслета...

Что говорить, несладко сложится ее судьба. Некоторые письма Пушкина она все же утаит и уже перед смертью попросит дочь сжечь их: «Это была моя сердечная тайна. Пусть она со мной и умрет»...

---

\*\*...Не знаю, придут ли к тебе  
Под вечер милых три красавца;  
Однако ж кое-как, мой друг,  
Лишь только будет мне досут,  
Явлюся я перед тобою;  
Тебе служить я буду рад –  
Стихами, прозой, всей душою,  
Но, Вигель – пощади мой зад!

– Софья создана для меня, – заключил Пушкин. – А я – для нее. Чем нам жить будет? – забарабанил пальцами по цилиндру. – Надеюсь, отец уступит что-нибудь из болдинского.

– Вот и примиритесь.

Пушкин промолчал.

– А как там Левушка? – спросил Вяземский, переводя разговор.

– Левушка? Байбак на родительский счет. Статская служба ему не пошла. Может, в седле дальше уедет? Спишусь с Николаем Раевским. Пусть пристроит его в свой полк... А в семье у меня один друг – Ольга. Умная, добрая. Знаю, ты ей стихи посвятил. Не вспомнишь?

– Разве что две строчки:

...Я полюбил в тебе сначала брата;  
Брат по сестре еще мне стал милей...

– Брат по сестре... Нашел слова... Спасибо!

Дорога резко свернула вправо к высоким каменным воротам, и взору предстал белоснежный в два этажа дом с колоннами, галереями.



*Музей-усадьба Остафьево*

– Прямо-таки дворец, – заметил Пушкин, – под стать Юсуповскому.

– У Юсупова богаче. У него и свой театр.

– Гарем – ты хотел сказать.

– Как же турку без гарема?

– Мы с Соболевским ездили к нему, в Архангельское. Верховом. Тебя не стали приглашать, зная твою нелюбовь к верховой езде.

– Да, наездник я еще тот.

– Показал нам собрание картин – пол-Европы притащил, библиотеку, заговорщицки подмигивая: эротика. Ловелас старый! Но мы заметили: многие страницы не разрезаны. Я сказал ему, что родители мои, когда мне было года три-четыре, арендовали у него деревянный флигель московского его дворца, что в Большом Харитоньевском. Сказал, что не помнит такого. Флигель и я плохо помню, а вот сад запомнился: сумрачный, бесконечный, со статуями богинь с обвислыми задами...

Вяземский улыбнулся:

– Однако.

– Как же! Первые мои обнаженные женщины... И никого из современных авторов, ни единого журнала. Как я понял, и моего ничего не читал.

– Зачем ему вообще читать? Сановному да богатому.

– Вельможа! – скривил губы Пушкин.

Для начала Вяземский предложил осмотреть окрестности усадьбы: сад, пруд, плотина, аллеи.

– Эта – липовая, – отцу она очень нравилась, собственно из-за нее, как сам говорил, и купил эту усадьбу.

– По случаю твоего рождения. Ты говорил. О, эта дворянская страсть к липовым аллеям! В Михайловском тоже есть такая, поменьше, правда. Как-то вечером прохаживался по ней с Анной Керн. Споткнулась, бедненькая, я тут же

подхватил ее, прижал, – засмеялся. – Прижал бы крепче, да рядом неотступно следовали Осипова и ее сынок Алексей.

– Упустил птичку! – и сам не заметил, как испортил Пушкину настроение. – Здесь любили прогуливаться Карамзин, Жуковский, Грибоедов, Мицкевич. Аллею Жуковский назвал Русским Парнасом.

– И причем тут Мицкевич? – вспыхнул Пушкин.

– Да не обрушивайся так на него! – Вяземский взял Пушкина под руку. – Адам – поэт невероятно талантливый.

– Тоже еще Адам!

– Да, пока без Евы. Но настолько увлекся очаровательной княгиней Волконской.

– И этот?

– Что расстался со своей возлюбленной.

– Ну и дурак!

– Возможно. Сейчас перевожу его «Крымские сонеты»: точность фразы, глубина мысли, чувства. А тебе, знаю, он неприятен высказываниями о Петре Великом. Но ведь Адам прав: Петр скорее поднял Россию на дыбы, чем погнал ее вперед...

Пушкин побагровел:

– Милостивый государь, Петр Андреевич!

Вяземский поспешил обнять его:

– Милый, Александр Сергеевич! – ткнулся губами в его колючий бакенбард.

### **«Я жертва мощной клеветы...»**

Провел Вяземский Пушкина и по усадебному дому: гостиная (портреты отца, матери, дальних предков), овальный зал.

– Балы давно не устраиваю, да и не любитель их. Дальше – библиотеки: большая, малая. Комната отца. Здесь все

сохранено, как было при нем: диван, конторка, журналы, бухгалтерские тетради. Следующая комната, угловая, самая светлая – Карамзина.

Пушкин застыл на пороге: стол с белой скатертью – обеденный, у окна еще один – рабочий. Книги, стопки рукописей, бронзовый подсвечник...

– Здесь рождалась «История государства Российского». И потомки должны знать об этом.

Усмехнулся:

– А следующая мемориальная комната будет твоя.

– И рядом – твоя, – парировал Вяземский: здесь останавливался великий русский поэт Пушкин.

– Пряник ты вяземский!

Пили дорогое вино, курили трубки.

Заговорили о Жуковском.

– Просит, – Вяземский чиркнул спичкой, – посылать ему в Дрезден с каждой почтой по несколько стихов из «Годунова». Отвечаю ему, что твой «Годунов» не французское рагу, что можно подавать вразбивку, а добрая штука мяса английского, которую должно подавать за стол целиком.

– Отправлю ему книжкой.

«Знал бы ты, Петр Андреевич, какую резолюцию царь наложил на «Годунова».

– И еще пишет Жуковский, что посетил в Веймаре Гете и вручил ему твою «Сцену из Фауста», переведя, естественно, на немецкий язык. Старик так расчувствовался, что попросил Жуковского передать тебе свое перо.

Пушкин чуть не подпрыгнул:

– И где оно, то перо?

– В пути, в пути...

– А мне Плетнев пишет: не идут «Цыганы». Не берут их книготорговцы. Все ждут «Онегина».

– Правильно: все ждут.

– А я, грешным делом, уже подсчитал: в «Цыганах» 570 строк. Если по пять рублей за строчку, набежало бы 2850 рублей. Как там у Языкова, черт бы его подрал? «*О, деньги, деньги! Для чего вы не всегда в моем кармане?*» Погодин не доплачивает, хотя обещал по десять тысяч с номера. Зачем, дескать, отдаю стихи в другие издания? Куда хочу, туда и отдаю. Это мое право. «Вестник» его – кухня любомудров. Умничают, философствуют. И ни толковой критики, ни истинного историзма. Вообще историзма нашей литературе, журналистике ох как недостает. Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя, но клянусь честью, ни за что на свете не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал...

– «*Любовь к отеческим гробам...*». – Ты сказал уже... Знаешь, Сашка, – снял очки, не спеша протер стеклышки, как обычно это делал, собираясь сказать нечто для него важное, – Жуковский предлагает мне написать покаянное письмо государю.

Пушкин вскинул брови:

– Помилуйте, Павел Андреевич, о чем это вы?

– Тебе, конечно, невдомек... И не гляди на меня такими глазами.

– Какими?

– Стреляющими.

– Так ведь...

– Так ведь знай, что при императоре Александре я был в опале.

– И ты?

– И я. И почта моя просматривалась. Льстивый, мстительный, он многим напакостил.

– Следовательно, я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба?

– Я видел, чувствовал, – продолжал Вяземский, – что он недолюбливал меня. Еще с Варшавы, где я служил в

канцелярии великого князя Константина Павловича. За мой либерализм. Всё – грехи первой юности. Теперь хочу покаяться.

– С годами мы становимся трусливее.

– Мудрее, Пушкин, мудрее. Разве ты не проявил благо-  
разумие, обратившись к Николаю с повинной?

– Да не с повинной, а с просьбой разрешить выехать на  
лечение.

– На какое лечение, мы теперь знаем.

– Я был прижат к стенке. Тебе-то зачем каяться за...  
даже не знаю, за что.

Вяземский словно не слышал его:

– Попрошусь на службу, и все в моей судьбе устроится.

Покаянное письмо императору Николаю Павловичу Вяземский действительно напишет, пространное, на 20 страницах, скорее не письмо, а записки, назвав их «Моя исповедь». В них он попытается объяснить несостоятельность обвинения его в пропольских настроениях и последовавшего затем отстранения от варшавской службы, считая меру эту «частной несправедливостью и политической ошибкой». Несостоятельность упреков в растлении юношества (в пристрастии к попойкам и разгулу в ранние петербургские годы), в излишне раздражительных эпистолярных высказываниях в адрес сановников, желчности эпиграмм...

«Впрочем, для изъявления своей готовности совершенно очистить себя во мнении правительства, рад принять всякое назначение по службе, которым оно меня удостоит», – завершит он свои записки.

А служебные дела его примут самый счастливый оборот. Получит камергера, будет назначен вице-директором департамента внешней торговли, станет академиком, товарищем министра народного просвещения, членом Государственного совета...



– Но прежде покатаюсь по Европе.  
– И когда же? – глухим голосом спросил Пушкин.  
– По весне или летом.  
– И Соболевский собирается, – усмехнулся. – Будет в Париже показывать мой портрет... Похоже, и мне в Москве делать больше нечего. Домой, домой! В Михайловское!



*В.А.Тропинин.  
Портрет А.С. Пушкина*

– В Петербург.  
– Нет, в Михайловское. Там книги, рукописи, там мои университеты. И начну с презренной прозы.  
– То бишь?  
– С записки о народном воспитании, – досадливо сощурился, – царь поручил. Что выйдет, не знаю, напишу, как вижу, как думаю: основа воспитания юношества в просвещении. Вот мое правило! Скорее всего, царю не очень понравится. Я так думаю...

Очень даже не понравится. Как сообщит ему Бенкендорф: *«Его Величество изволил заметить, что принятое Вами правило, есть правило опасное для общего спокойствия»*. И добавит уже жестко: *«Правило, завлекшее Вас*

*самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей»... Но это потом, потом. Еще и записки не написаны...*

– А в Европу мне путь заказан. Дважды обращался с прошением – молчание. Так что одно: Михайловское. Впрочем, есть какое-то поэтическое наслаждение возвращаться вольным в покинутую тюрьму.

Вяземский как-то странно поглядел на него, но не нашелся, что сказать, и продолжил:

– И княгиня Волконская уезжает\*.

– Мне теперь все рано.

– Не пришлось новым властям, особенно после того, как устроила прощальный вечер по случаю отъезда в Сибирь жен декабристов. Без ее салона Москва осиротеет.

– Я же говорю тебе, мне все равно, – задергал ногой. – Кругом упреки, недовольства. Уже по поводу «Андрея Шенье»\*\* пришлось объясняться, вернее отрывка из него, изъяттого цензурой, ты знаешь, ни много ни мало 44 строки\*\*\*. Кто-то приделал к ним название «На 14 декабря» и пустил за моей подписью. Кто – не ведаю. Это я и изложил в записке на имя московского обер-полицмейстера Шульгина. При этом добавил, что элегия сия была написана мною еще до событий на Сенатской и посвящена она французской ре-

---

\* Княгиня З.А. Волконская уедет в Рим. Ее вилла станет, по сути, русским домом в Италии, где будут собираться русские художники, музыканты, писатели, в том числе уже прославившийся своими «Вечерами...» Н.В. Гоголь.

\*\* Андрей Шенье, французский поэт, заподозренный в нелояльности к революционному правительству, был арестован и казнен.

\*\*\* Фрагмент запрещенного цензурой отрывка из элегии А.С. Пушкина «Андрей Шенье»:

...Где вольность и закон? Над нами  
Единый властвует топор.  
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами  
Избрали мы в цари! О, ужас, о, позор!..

волюции и что данный отрывок из нее я не распространял. Наверняка не поверил. Вижу, и ты не веришь.

– Верю, верю, – успокоил его Вяземский, – но публично-то читал.

– Это разные вещи.

– По делу допрашивают уже несколько человек.

– Oh, mon dien!\*

– Теперь направо и налево читаешь «Стансы»\*\*. Государь император видел их?

– Видел и одобрил.

– Я тебе так скажу: твоя параллель Петр – Николай неуместна. Ставя Петра в пример Николаю, ты тем самым оправдываешь казнь декабристов:

Начало славных дней Петра  
Мрачили мятежи и казни...

Такого же мнения Баратынский и другие. И вообще исторически неверно сравнивать декабристов со стрельцами.

– До конца хоть дочитали?

Семейным сходством будь же горд;  
Во всем будь пращуру подобен,  
Как он, неутомим и тверд,  
И памятью, как он, незлобен...

И памятью, как он, незлобен... Вот мысль! В ней надежда на прощение Николаем сосланных в Сибирь, разжалованных в солдаты. Поэт – пророк, он вправе указать властелину на его историческую миссию. И ничего здесь подобострастного, в чем меня обвиняют «московские юноши». Кто-то даже пустил слухок, что «Стансы» – заказные

---

\* О, мой бог! (*фр.*).

\*\* Стихотворение «Стансы», посвященное Николаю I.

стихи и что написал я их в кабинете царя в четверть часа. Сколько же у меня врагов!..

Вяземский в задумчивости посмотрел на Пушкина: «Эх, Пушкин, Пушкин, так ты ничего и не понял. Москва, да, приняла тебя с ликованием как первого поэта России, вольного, непокоренного, по сути, короновала – в пику царю. Но последовали твои бесконечные его восхваления, умиления милостями. У московского общества, более оппозиционного по сравнению с петербургским и всей провинцией, это вызвало сначала недоумение, потом раздражение, особенно у молодежи: пред ними предстал другой Пушкин. И эти твои *«Стансы»*...

\* \* \*

1 ноября Пушкин уехал из Москвы. Удивился и легкости дороги и легкости своего душевного состояния. «Ни постукивания рядом шашки фельдгегера, ни, как тогда, летом 24-го, ссылочного предписания в кармане. И все дальше ошестинившаяся Москва. Я жертва мощной клеветы! Но друзья, друзья... Как они могли поддаться на такое?»

И уже в Михайловском сядет за другие стансы.

## ДРУЗЬЯМ

Нет, я не льстец, когда царю  
Хвалу свободную слагаю:  
Я смело чувства выражаю,  
Языком сердца говорю.

Трудно дастся следующая строка: *«Мне ль не любить его...»* Зачеркнет. *«Люблю его – не он ли мне, простерши царственную руку...»* Зачеркнет. *«Его я просто полюбил...»* На этой строчке остановится. И далее:

Он бодро, честно правит нами;  
Россию вдруг он оживил  
Войной, надеждами, трудами.

О нет, хоть юность в нем кипит  
Но не жесток в нем дух державный;  
Тому, кого карает он,  
Он втайне милости творит.

Текла в изгнанье жизнь моя,  
Влачил я с милыми разлуку,  
Но он мне царственную руку  
Простер — и с вами снова я.

Во мне почтил он вдохновенье,  
Освободил он мысль мою,  
И я ль, в сердечном умиленье,  
Ему хвалы не воспою?

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:  
Он горе на царя накличет,  
Он из его державных прав  
Одну лишь милость ограничит.

Он скажет: презирай народ,  
Глуши природы голос нежный,  
Он скажет: просвещенья плод —  
Разврат и некий дух мятежный!

Беда стране, где раб и льстец  
Одни приближены к престолу,  
А небом избранный певец  
Молчит, потупя очи долу.

Эти «другие стансы» не прибавят взаимопонимания с друзьями – холодок в отношениях еще долго будет оставаться. А Николая I признания поэта даже смутят, или он просто сыграет в скромность: «Распространять можно, печатать не надо», – передаст через Бенкендорфа.

Позади Тверь с ее «Гальяни\* иль Кальяни», свернул в Малинники, там – Анна Вульф. Более года не видел ее. И даже вроде соскучился. Она, вспыхнув, бросится к нему: «Если бы вы знали, как я рада, что государь помиловал вас! Я молила провидение...». – «Все хорошо, все будет хорошо», – только и скажет он, чувствуя, как стучит ее сердце...



*Анна Вульф  
у верстового столба  
с надписью «От Моск. 235»  
(От Москвы 235 верст).  
Имеется в виду  
до Малинников.  
Рис. Пушкина*

---

\* Гальяни – владелец гостиницы в Твери.

## Звонок

Да это Алена:

– Вы звонили? – звонкий голос. – Я пропустила.

– Да, звонил. Хотел узнать, собираетесь ли в Москву?

– Собираюсь. Уже и билет взяла, на 29-е.

– 30-го будете. Как раз под Новый год. Здорово!

– Остановиться мне есть где, – поспешно добавила она. –

У меня тетя в Москве.

– Я встречу.

– Да не обязательно. Сама доберусь.

– Нет-нет, встречу. Номер поезда? Вагон?

– Поезд ноль-ноль один, вагон шестой.

– Прибывает?

– В десять утра. Около десяти. А Пушкин в Москве?

Наверняка при этом улыбнулась.

– Пушкина в Москве нет. Уехал в свое Михайловское.

Еще в ноябре. Москва ему как-то не пришла.

– Почему? Ведь чуть ли не на руках носили.

Отвела со лба локон.

– Да, носили. Но потом наступило охлаждение. Особенно в молодежной среде. Стали обвинять его в верноподданничестве, лести. Какой-то аноним даже эпиграмму запустил:

Я прежде вольность проповедал,  
Царей с народом звал на суд,  
Но только царских щей отведал  
И стал придворный лизоблюд.

– О, господи! Пушкин знал о ней?

– Вряд ли... Со сватовством вышла осечка.

– Все-таки посватался? И к кому же?

– К Софье Пушкиной, дальней своей родственнице.

– И получил отказ?

– Не совсем. Попросила подождать с ответом до 1 декабря. Но к назначенной дате он не приехал. Где-то под Псковом коляска перевернулась, ушиб грудь, бок, увидел в этом недоброе предзнаменование и вернулся в Михайловское. И уже оттуда написал брату Софьи, что женитьба невозможна.

– Может, и к лучшему. Женится на местной барышне. На одной из дочерей тригорской своей соседки.

– На младшенькой Зизи.

– С которой он мерялся пояском.

– Факт известный. И талии их оказались одинаковыми – двадцатипятилетнего мужчины и пятнадцатилетней девушки. Маман точно была бы не против... И еще на станции Залазы, опять же в Псковской губернии, повстречался с Кюхельбекером. Кюхельбекера в сопровождении жандармов и фельдъегеря перевозили в дальний каземат... Да что мы все по телефону? Приезжайте...

А 29-го декабря в полдень страна узнала о теракте на железнодорожном вокзале Волгограда. В телевизоре замелькали картинки: огненная вспышка, облако дыма, крики людей, полиция, скорая помощь...

Бросаюсь к мобильнику: «Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Что за ерунда? Еще вчера связь была. Снова и снова звоню. Бесполезно. Неужто? О таком даже думать не хотелось. Вот уже дали телефон горячей линии. Не пробиться! Да и как спросить? Фамилии-то не знаю. Просто Алена...

Наутро – я на вокзале. Напряженные, молчаливые лица. Поезд опаздывал. Наконец, появился. Вползал не перрон медленно, словно провинившийся. Первый, второй, третий, четвертый вагоны... шестой. Лязгнули буфера. Встречающие чуть ли не выхватывали своих – с объятиями и слезами. Живы! Живы!



Алены нет.

– Встречаете? – спросила проводница.

– Да, женщину лет тридцати-тридцати пяти. Блондинка.

– Нынче каждая вторая блондинка. Одна?

– Одна.

– Не было такой.

– Может, пропустил, – оглядываюсь по сторонам.

– Вагон точно шестой?

– Шестой.

– Не было. О, господи!..

Теплилась надежда, что позвонит Татьяна, дочь Алины. Может, в ее мобильнике сохранился мой номер? Не позвонила. Ни через день, ни через два, ни через три...

\* \* \*

А Пушкин в Михайловском. Купит (Прасковья Александровна поспособствует) Савкину Горку\*, где прежде так хорошо ему сочинялось. Выстроит там домик с окнами на все четыре стороны и засядет за работу. А задумок! «История Петра Великого», «Роман в письмах», «Роман на Кавказских водах», роман «Рославлев», пьеса «Гости съезжались на дачу», трагедия «Вадим», поэмы «Бова», «Мстислав», «Казачка и черкес», «Езерский», «Юдифь», «Антология русской литературы»...

Повертел еще теплое от сургуча письмо. «Пусть тригорский кучер немедля отвезет его в Псков, на почтамт – лично для государя императора. Что отпираться-то? «Гаврилиаду» я написал. Юн был...»

---

\* Остатки средневекового городища, что неподалеку от Михайловского.

## Содержание

### *Вечер в Тригорском*

«Алина, сжальтесь надо мною...» .....	3
Заяц спас! .....	10
Приезд жандарма .....	15
Сороть .....	18

### *Псков, Боровичи, Торжок...*

Губернатор .....	24
Фельдъегерь .....	34
Боровичи .....	37
Звонок .....	42
Талисман .....	44
«Проклятое посещение, проклятый отъезд» .....	50
В кругу Собаньском .....	52
Донжуанский список .....	57
Байрон .....	66
Дарья Пожарская .....	68
«Вот я вас...» .....	73

### *Москва*

Хозяин .....	77
На Басманной .....	83
У Соболевского .....	91
Почтамт .....	105
Нащокинский домик .....	109
«Щасливый Вяземский» .....	116
Всех надул .....	125
Мария .....	135

Плохой Качони .....	150
Малая Никитская, 12 .....	155

*Карету мне, карету!..*

Стычка .....	162
19 октября .....	176
Остафьево .....	180
«Я жертва мощной клеветы...» .....	189
Звонок .....	199



## Уважаемые читатели!

Издательство «Спутник+»  
предлагает:

- 📖 **ИЗДАНИЕ И ПЕЧАТЬ МОНОГРАФИЙ, КНИГ** любимыми тиражами (от 50 экз.).
  - ✓ Срок - от 3-х дней в полноцветной и простой обложке или твердом переплете.
  - ✓ Присвоение ISBN, рассылка по библиотекам и регистрация в Книжной палате.
  - ✓ Оказываем помощь в реализации книжной продукции.
- 📖 **ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ** для защиты диссертаций в журналах по гуманитарным, естественным и техническим наукам.
  - ✓ Журнал «Естественные и технические науки» входит в перечень ВАК.
- 📖 **ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАОЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ** по всем научным направлениям для аспирантов, соискателей, докторантов и научных работников.
- 📖 **ПУБЛИКАЦИЯ СТИХОВ И ПРОЗЫ** в журналах «Российская литература», «Литературный альманах «Спутник» и «Литературная столица».
- + **Набор, верстка, корректура и редакция текстов.**
- + **Печать авторефератов, переплет диссертаций (от 1 часа).**
- **Переплетные работы, тиснение, полноцветная цифровая печать.**

*Наш адрес: Москва, 109428, Рязанский проспект, д. 8 А*  
*тел. (495) 730-47-74, 778-45-60, 730-48-71 с 9 до 18 (обед с 14 до 15)*  
**<http://www.sputnikplus.ru> e-mail: [sputnikplus2000@mail.ru](mailto:sputnikplus2000@mail.ru)**

Соляник Николай Ананьевич

## АЙ ДА ПУШКИН...

Компьютерная верстка: *Г. Фадеев*  
Корректурa: *Л. Корчагина*

Издательство «Спутник +»  
109428, Москва, Рязанский проспект, д. 8а  
Тел.: (495) 730-47-74, 778-45-60 (с 9 до 18)  
Подписано в печать 29.04.2016. Формат 60×90/16.  
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 12,75. Тираж 510 экз.







